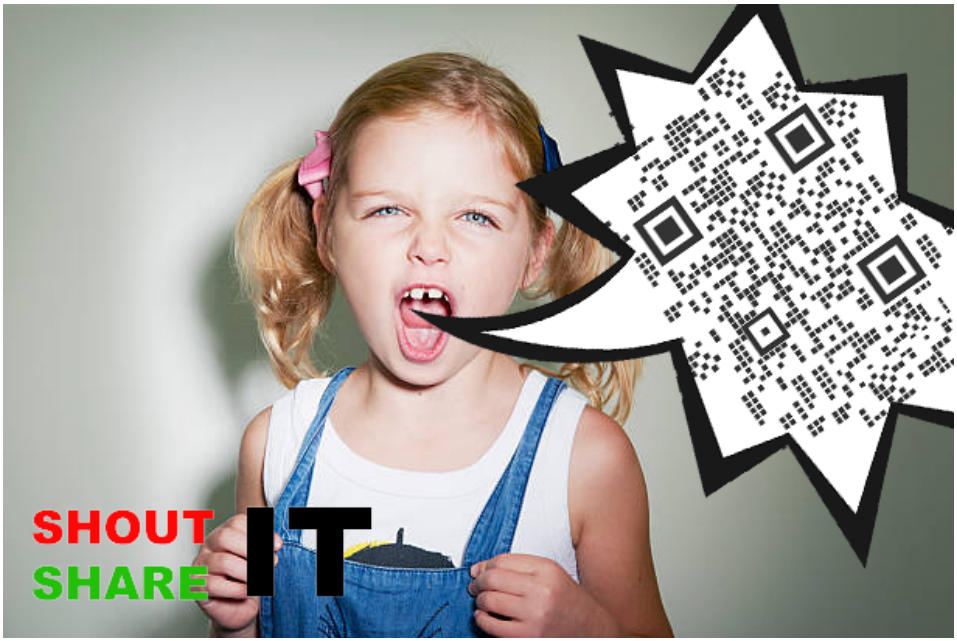
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

Jerome K. Jerome


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Они и я» (*They and I*, 1909) — автобиографическая повесть Джерома К. Джерома о переезде в загородный дом. Перевод А. Ф. Гамбургера 1912 года, в современной орфографии.

- Джером Клапка Джером
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII

Джером Клапка Джером
Они и я

I

— Дом невелик, — сказал я. — Да нам и не нужно большого дома. Две спальни и маленькая треугольная комнатка, отмеченная на плане, рядом с ванной, как раз годная для молодого человека, — вот все, что нам нужно, по крайней мере, до поры до времени. Впоследствии, если я разбогатею, можем прибавить флигель. Кухню придется немного перестроить в угоду маме. И о чем только думал строивший…

— Ну, что там кухня, — сказал Дик, — а как насчет бильярдной?..

Привычка, приобретенная в настоящее время детьми, прерывать родителей скоро превратится в национальное бедствие. Хотелось бы мне тоже, чтобы Дик не садился на стол, болтая ногами. Это очень непочтительно. Я как-то сказал ему:

— Когда я был мальчиком, мне так же мало могло прийти в голову сесть на стол или прерывать отца, как…

— Что это за штука посреди комнаты, точно какой-то трап? — перебила меня Робина.

— Это она про лестницу, — пояснил Дик.

— Отчего же она не похожа на лестницу? — настаивала на своем Робина.

— Человек с мозгами в голове сейчас увидит, что это лестница, — отвечал Дик.

— Вовсе нет, трап, да и только, — не сдавалась Робина.

Робина, держа развернутый план на коленях, сидела, покачиваясь, на ручке кресла. Право, я часто задаю себе вопрос: зачем покупать кресло для такого народа?

Кажется, никто не знает их настоящего назначения — разве какая-нибудь из комнатных собак вспомнит. А людям теперь надо жерди — нашесты, как курам.

— Если бы удалось выбросить гостиную в переднюю и уничтожить эту лестницу, можно бы иногда устраивать танцевальные вечера, — подумала вслух Робина.

— Может быть, самое лучшее было бы вынести все из дому и оставить только голые стены, у нас тогда стало бы просторнее. А для житья мы могли бы устроить навес в саду, или… — начал было я.

— Я говорю серьезно, — возразила Робина. — Какая польза от гостиной. Она нужна только для того, чтобы принимать таких людей, которых вовсе не желательно принимать нигде. Где их ни посади, одинаково неприятно и для них и для себя. Если бы мы могли только избавиться от лестницы…

— Отчего же нам и не избавиться, — предложил я, — конечно, в первое время было бы немного странно, когда наступала бы пора ложиться спать. Но, я думаю, мы скоро бы привыкли. Мы могли бы завести приставную лестницу и влезать в комнату через окна. Или устроить постоянную лестницу по норвежскому образцу — снаружи, — предложил я.

— Зачем говорить глупости, — заметила Робина.

— Я вовсе не шучу и стараюсь вас также заставить смотреть на дело серьезно, — начал я оправдываться. — Вы теперь помешаны на танцах. Будь ваша воля, вы бы превратили весь дом в танцевальный зал, а спали бы в койках, подвешенных к потолку. Ваше увлечение продержится с полгода. Затем вам захочется превратить дом в купальный бассейн, скэтинг-ринг, в площадку для хоккея… Моя мысль, может быть, неудобоприменимая. Я и не требую, чтобы вы ей сочувствовали. Я желаю иметь обыкновенный дом, где можно устроиться по-христиански, а не гимнастическое заведение. В этом доме будут и спальни, и ведущие в них лестницы. Может быть, вы найдете это крайне сумасбродным, но будет также и кухня. Собственно говоря, строя дом, следовало бы и для кухни…

— Не забудь бильярдную, — заметил Дик…

— Если бы ты больше думал о своей будущей карьере и поменьше о бильярде, ты, может быть, поскорей бы справился с своими учебниками, — возразила Робина. — Если бы папа был благоразумен, то есть если бы он так не баловал тебя, он совсем бы изгнал бильярд из дому.

— Ты только потому так рассуждаешь, что сама не умеешь играть, — ответил Дик.

— А тебя все же обыгрываю, — огрызнулась Робина.

— В кои-то веки — раз, — согласился Дик.

— Нет, два, — поправила Робина.

— Ты вовсе даже не играешь, — продолжал Дик. — Ты только ходишь вокруг, надеясь на судьбу.

— Вовсе я не хожу, а всегда на что-нибудь нацеливаюсь, — спорила Робина. — Когда ты ударяешь, и у тебя ничего не выходит, ты говоришь, что тебе не везет, а когда я промахнусь — значит, я зеваю. Вот ты какой.

— Вы оба приписываете слишком много значения счету, — сказал я. — Когда вы стараетесь сделать карамболь с белым шаром и посылаете его не в ту сторону, куда надо, но прямо в лузу, а ваш собственный шар продолжает катиться и случайно натыкается на красный, так вместо того, чтобы сердиться на себя…

— Когда у нас будет настоящий хороший бильярд, папа, я

научу тебя, как играть на бильярде, — заявил Дик.

Мне кажется, Дик в самом деле воображает себя хорошим игроком на бильярде. То же самое и с гольфом. Начинающим всегда везет.

«Мне кажется, я стану хорошим игроком, — говорят они. — Я, так сказать, имею к тому природные способности». Понимаете?

Есть у меня приятель — старый капитан-моряк. Он любит, когда все три шара лежат по прямой линии, так как тогда он знает, что может сделать карамболь, и красный будет там, где он захочет. У нас гостил молодой ирландец Мэлони, товарищ Дика. Как-то после обеда шел дождь, и капитан предложил Мэлони показать ему, как молодой человек должен играть на бильярде. Он научил его, как держать кий, и объяснил, как расположить шары… Мэлони был ему благодарен и упражнялся около часу. Здоровый, крепкий молодой человек был, по-видимому, не из многообещающих. Он никак не мог понять, что играет не в крокет. Каждый раз, как ему приходилось нацелиться слишком низко, результатом была потеря шара. Для сохранения времени и мебели, мы с Диком стали следить за шаром вместо него. Дик стоял у продольного конца, а я у поперечного. Однако это было скучно, и после того, как Дик два раза подхватил его шар, мы согласились, что он выиграл, и повели его пить чай. Вечером никто из нас не пожелал снова пробовать счастья — капитан сказал, что ради забавы он дает Мэлони восемьдесят пять вперед и будет играть до ста.

Откровенно говоря, игра с капитаном не доставляла мне особенного удовольствия.

Для меня игра состояла в хождении вокруг бильярда, в бросании ему обратно шаров и произнесении слова «так!». Когда наступал мой черед, мне казалось, что все идет против меня. Он милый старичок, и намерения у него самые лучшие, но тон, которым он говорит: «Промах!» — когда я промахнусь, раздражает меня. Я чувствую желание швырнуть ему шаром в голову и весь бильярд выбросить за окно. Может быть, это происходит оттого, что я нахожусь в возбужденном состоянии, но его манера записывать очки раздражает меня. Он носит с собой мелок в жилетном кармане — как будто наш мелок не достаточно хорош для него — и, окончив запись, сглаживает большим и вторым пальцем кончик мелка, а кием постукивает по столу. Мне хочется сказать ему: «Продолжайте же игру, к чему все эти ужимки».

Капитан начал с промаха, Мэлони схватил кий, глубоко перевел дух и пустил шар. В результате получилось десять: карамболь, и все три шара в лузе. Конечно, он дважды повторил

карамболь, но второй раз, как мы ему объяснили, в счет не шел.

— Хорошее начало, — сказал капитан.

Мэлони был, по-видимому, доволен собой и снял куртку. При первой прогулке вверх по столу шар Мэлони пробежал мимо красного, на расстоянии около фута; но потом он поймал его и послал в лузу.

— Девяносто девять, — сказал Дик, записывая. — Не лучше ли капитан, назначить сто пятьдесят?

— Может быть и лучше назначить сто пятьдесят, если мистер Мэлони ничего не будет иметь против…

— Совершенно как вам угодно, сэр, — сказал Мэлони.

Мэлони окончил игру на двадцати двух, загнав свой шар в лузу, а красный оставив на месте.

— Записать? — спросил Дик.

— Когда мне понадобится записать, — возразил капитан, — я попрошу.

— Извините, — сказал Дик.

— Не люблю шумной игры, — заметил капитан.

Не долго задумываясь, капитан послал свой шар к борту на шесть дюймов от шаров посредине.

— Что вы теперь сделаете? — спросил Мэлони.

— Что вы будете делать, не знаю, — ответил капитан. — Посмотрим.

Благодаря положению шара, Мэлони не мог применить всей своей силы. На этот раз он ограничился только тем, что послал шар капитана в лузу и сам остался у борта, в четырех дюймах от красного. Капитан сказал крепкое словцо и опять промахнулся. Мэлони толкнул шары в третий раз. Они разлетелись в разные стороны, сталкиваясь, вернулись и безо всякого повода начали гнать один другого. Особенно красный шар, по-видимому, совершенно обезумел. Вообще говоря, наш красный шар — глупый шар — и теперь ему пришло в голову спрятаться под борт и оттуда следить за игрой. Он, очевидно, решил, что на столе нигде не будет в безопасности от Мэлони. Его единственной надеждой оставались лузы. Я, может быть, ошибся, может быть, не совсем ясно рассмотрел при быстроте игры, но мне казалось, что красный и ждать не стал, чтоб в него попали. Когда он увидал, что шар Мэлони несется на него со скоростью сорока миль в час, он преспокойно отправился в ближайшую лузу. И так он обежал вокруг всего бильярда, отыскивая лузы. Когда в своем волнении ему случалось пробежать мимо пустой лузы, он возвращался и все же забирался в нее. Бывали минуты, когда в своем ужасе он соскакивал со стола и укрывался под диван или за шкаф. Становилось жаль красного шара.

У капитана были записаны законные тридцать девять, и Мэлони дал ему двадцать четыре, когда действительно стало казаться, что час торжества для капитана настал.

— Сто двадцать восемь. Теперь игра в ваших руках, капитан, — сказал Дик.

Мы обступили бильярд. Дети бросили игру. Получилась хорошенькая картинка: свежие молодые личики, все превратившиеся в напряженное внимание, старый ветеран, опустивший кий, как бы опасаясь, что наблюдение за игрой Мэлони причинит ему судороги.

— Ну, следите, — шепнул я молодому человеку, — да не только замечайте, что он делает, а старайтесь понять — почему. Каждый дурак, конечно, после некоторой практики сумеет попасть в шар. Но почему вы целитесь в него? Что бывает после того, как вы его толкнули? Ну что…

— Тсс… — сказал Дик.

Капитан потянул кий к себе и осторожно вытянул его вперед.

— Красивый удар, — шепнул я Мэлони. — Вот таким образом…

Мне кажется, что в эту минуту слишком много крылатых слов теснилось на языке капитана, чтоб он мог справиться с своими нервами и урегулировать движения. Медленно катясь, шар прошел мимо красного. Дик говорил потом, будто он прошел так близко, что нельзя бы было вставить между ними даже листа бумаги. Иногда, сказав такую вещь, можно утешить человека, а, впрочем, бывают случай, что можно привести в бешенство. Шар покатился дальше и прошел мимо белого, на этот раз между ними можно бы вставить целую стопу бумаги — и с довольством плюхнулся в левую лузу на верхнем конце.

— Зачем он это делает? — шепотом спросил Мэлони. У него был удивительно пронзительный шепот.

Дик и я как можно скорее удалили наших дам и детей, но Вероника, конечно, зацепилась за что-то по дороге — Вероника, я думаю, даже в пустыне Сахаре нашла бы за что зацепиться, — и через несколько дней я за дверью детской услыхал такие выражения, что у меня волосы стали дыбом. Когда я вошел, я увидал Веронику стоящей на столе, а Джумбо сидящим на стуле с музыкой. У бедного пса вид был самый растерянный, хотя ему, вероятно, в своей жизни приходилось слыхать немало милых словечек.

— Вероника, — обратился я к ней, — и тебе не стыдно? — Ах, ты дурная девочка, как ты смеешь…

— Ничего в том нет дурного, — ответила Вероника. — Он моряк, и если я с ним стану говорить иначе, он не поймет.

Я плачу старательным, добросовестным особам, чтоб они учили девочку тому, что ей следует знать. Они рассказывают ей умные вещи, которые говорил Юлий Цезарь, замечания, какие делал Марк Аврелий, раздумывая над которыми, можно извлечь очень много пользы для своего характера. Она жалуется, что иногда у нее в голове от всего этого начинает как-то странно шуметь, а мать ее предполагает, что, может быть, у Вероники творческий ум, который не в состоянии многого запомнить. Вообще мать полагает, что из девочки что-нибудь выйдет. С дюжину крепких словечек успело вылететь у капитана прежде, чем нам с Диком удалось удалить многообещающую девицу из комнаты. Я предполагаю, что она впервые слышала такие живописные выражения, и вот сразу запомнила их!

Капитан, постепенно успокоившись в нашем отсутствии, овладел собой и к нашему приходу, несмотря на все упорство Мэлони, продолжал игру. Она завершилась тем, что шар Мэлони, загнав красный в лузу, остался на столе, где исполнил танец *solo* и в конце концов пробил окно. Так закончилась «удивительная игра» способного молодого человека.

Капитан не мог удержаться, чтоб не сказать:

— Да, такой игры долго не увидишь. Я бы на вашем месте никогда не взялся бы больше за кий. Отчасти я сам виню в такой игре наш бильярд, и Дик прав, что надо переменить хоть лузы: шары попадают в них и снова выскакивают, точно увидали там что-то, что испугало их. Они выпрыгивают, дрожа, и держатся потом борта. Надо будет также купить новый красный шар. Должно быть, наш уж очень состарился. Кажется, будто он вечно утомлен.

— Мне кажется, бильярдную довольно легко устроить, — сказал я Дику. — Отняв футов десять от теперешней молочной… мы получим комнату в двадцать восемь футов на двадцать. Думаю, это удовлетворит тебя и твоих друзей. Гостиная слишком мала, чтобы из нее можно было что-нибудь сделать. Я, может быть, решусь — как советует Робина — перенести ее в сени. Но лестница останется. Для танцевальных вечеров, домашних спектаклей и тому подобных вещей, способных удалить вас, детей, от каких-нибудь глупых выдумок, у меня есть идея… Я вам объясню ее после. Кухня же…

— А у меня будет отдельная комната? — спросила Вероника.

Вероника сидела на полу, уставившись в огонь, положив подбородок на руку. В те минуты, когда Вероника не занята какими-нибудь выдумками, у нее бывает удивительно святое выражение — будто она унеслась мыслями далеко от здешнего мира — выражение, способное ввести в заблуждение незнакомого

человека. Учительницы, занимающиеся с ней недавно, в эти минуты начинают колебаться, следует ли возвращать ее мысли к числам и таблице умножения. Знакомые мне поэты, случайно заставшие ее в такой позе у окна, смотрящей вверх на вечерние звезды, думали, что она в экстазе, пока, подойдя ближе, не убеждались, что она сосет мятную лепешку.

— Как бы мне хотелось иметь отдельную комнату, — прибавила Вероника.

— Воображаю, какой вид имела бы эта комната, — заметила Робина.

— Во всяком случае, у меня головные шпильки не были бы натыканы по всей постели, как у тебя, — задумчиво возразила Вероника.

— Вот фантазия!.. — отвечала Робина. — Отчего же…

— Мне хотелось бы устроить тебе отдельную комнату, — перебил я Робину, — только боюсь, что тогда в доме, вместо одной комнаты, которая вечно в беспорядке… Я каждый раз содрогаюсь, когда мне приходится проходить мимо отворенной двери — а дверь, несмотря на все мои настояния, вечно отворена…

— Я вовсе не беспорядочна, — защищалась Робина. — Совсем нет: я в темноте могу найти каждую вещь… если бы только оставляли мои вещи в покое.

— Ну, нет, такой беспорядочной барышни я еще не видывал, — заметил Дик.

— Глупости! Ты не бывал в комнатах у других барышень, — настаивала Робина. — Ты лучше взгляни на свою комнату в Кембридже. Мэлони сказал, что у тебя был пожар, и мы сначала было поверили ему…

— Когда человек работает… — начал Дик.

— Его должен окружать порядок, — докончила Робина.

Дик вздохнул.

— С тобой не сговоришься. Ты и своих недостатков не видишь.

— Нет, вижу их лучше всякого другого. Я только требую справедливости и больше ничего.

— Докажи мне, Вероника, что ты достойна иметь комнату, — сказал я. — Теперь ты, кажется, смотришь на весь дом как на свою комнату. Я нахожу твои гамаши на площадке для крокета. Часть твоего костюма, которую не принято показывать всему свету, висит через перила на лестнице…

— Я вывесила, чтобы починить, — объяснила Вероника.

— Ты отворила дверь и выбросила вещь; ведь я еще тогда заметила тебе это, — сказала Робина. — То же бывает и с

башмаками…

— Ты думаешь о материях слишком высоких по твоему росту, — объяснил сестре Дик. — Попытайся не возноситься так высоко…

— Желал бы также, чтобы ты внимательнее относилась к своим гребням, или, по крайней мере, знала, где их бросаешь. А что касается твоих перчаток, так, кажется, погоня за ними станет нынешней зимой нашим главным спортом.

— Вольно людям искать их в самых невозможных местах, — оправдывалась Вероника.

— Положим, что так. Но будь же справедлива, Вероника, — убеждал я ее, — ведь случается находить их именно в этих невозможных местах. Ища твои вещи, научаешься никогда не отчаиваться. Пока в доме или вокруг дома, по крайней мере, на полмили расстояния остается хотя один не обшаренный уголок, нельзя оставлять надежды.

Вероника продолжала задумчиво смотреть в огонь.

— Вероятно, это следственность, — наконец проговорила она.

— Что такое? — переспросил я.

— Это она, глупышка, хочет сказать «наследственность», — объяснил Дик. — Удивляюсь, как это ты позволяешь ей так говорить с тобой…

— А я, кроме того, постоянно объясняю ей, что папа литератор: стало быть, ему это так полагается, — заметила Робина.

— Тяжело приходится нам, детям, — заключила Вероника.

Мы все за исключением ее самой решили, что Веронике пора спать. И я, как председатель, решил считать спор законченным.

II

— Как же, папа, ты в самом деле купишь дом, — вопросил Дик, — или мы только так разговариваем?

— На этот раз, конечно, купил, — ответил я.

Дик сделал очень серьезную физиономию.

— Подходящий? — спросил он.

— Нет, не совсем, — ответил я. — Я желал приобрести старомодный, живописный домик с высокой крышей, стрельчатыми окнами, весь увитый плющом.

— Ты спутываешь вещи, — возразил Дик, — стрельчатые окна и высокая крыша — одно к другому не подходит.

— Извини, Дик, — поправил я его, — в моем доме они бы подошли. Дом такого типа можно видеть в рождественских номерах журналов. Кроме как там, я такого дома никогда не видал; но он мне сразу понравился. Дом стоит недалеко от церкви, и ночью приятно видеть его огни. Когда я был еще мальчиком, я говорил себе: «Когда вырасту, стану жить точь-в-точь в таком доме». Это была моя мечта.

— Ну, а на что похож тот, что ты купил? — спросила Робина.

— Агент говорит, что его можно переделать, — объяснил я. — Я спросил его, как он определяет стиль дома? Он мне ответил, что, по-видимому, дом служил приходской школой, но что теперь таких домов не строят, и это, по-видимому, правда.

— Река близко? — спросил Дик.

— Если ехать дорогой, так в нескольких милях, — ответил я.

— А тропинкой? — продолжал свой допрос Дик.

— Дорога — кратчайший путь, — объяснил я. — Через лес идет хорошенькая дорожка, но по ней будет мили три с половиной.

— Но мы ведь решили, что река должна быть близко, — вставила Робина.

— Мы также решили, что почва должна быть песчаная и фасад должен выходить на юго-запад. А в этом доме только одна дверь на юго-запад, — черный ход. Я спросил агента насчет песка. Он посоветовал мне, если песок мне понадобится, обратиться к железнодорожной компании. Мне хотелось, чтобы дом стоял на холме. Дом и стоит на холме; только другой холм повыше. Этого холма мне вовсе не нужно. Я желал, чтобы был далекий вид на южною часть Англии. Мне хотелось иметь возможность вывести гостей на крыльцо и втолковать им, что в ясные дни мы можем видеть Бристольский канал. Мне, может быть, не поверили бы, но без этого холма никто не мог бы с уверенностью утверждать,

будто я… будто я присочиняю. Что касается меня лично, я предпочел бы дом, где что-нибудь случилось… Я бы не прочь был, чтобы где-нибудь оказалось кровавое пятно — не поддельное, а настоящее, которое могло бы большую часть времени скрываться под ковром, но которое можно бы при случае показывать гостям. Я даже питал некоторую надежду на привидение. Я не говорю о каком-нибудь неземном привидении, которое даже, по-видимому, забыло, что оно умерло. Я мечтал о привидении в виде женщины, появляющемся спокойно, деликатно. А вот этот дом, и в том главная причина моего неудовольствия, такой прозаический. Впрочем, в нем есть эхо. Став в конце сада и крикнув громко, вы получите отголосок своих слов. И вот единственное, что есть забавного во всем доме, но и тут ответ получается в каком-то кислом тоне, будто эхо недовольно и только принуждает себя отвечать, чтобы доставить вам удовольствие. А сам же дом как будто принадлежит к числу тех, которые вечно думают только о налогах да разных обложениях.

— Так почему же ты купил такой дом? — допытывался Дик.

— Нам кажется, как сам знаешь, всем надоело жить в этом пригороде. Нам хочется поселиться в деревне и там наслаждаться. А чтобы жить так, необходимо иметь собственный дом. А из этого следует, что надо или выстроить его или купить готовый. Мне строить не хотелось. Толбойс сам себе выстроил дом. Вы знаете Толбойса? Когда я познакомился с ним, прежде чем он начал стройку, он был веселый, приветливый человек. Архитектор уверяет его, что лет через двадцать, когда краска немного сдаст, дом его будет картинка. Пока же у него желчь разливается при одном взгляде на дом. Его уверяют, что из года в год, по мере того, как будет испаряться сырость, его ревматизму и ломоте станет легче. Сад его обнесен изгородью высотой в девять дюймов. В защиту от мальчишек он сделал эту изгородь из колючей проволоки в девятнадцать дюймов высотой. Но разве изгородь может отгородить вас от всего мира? Когда Толбойсы пьют кофе на террасе, целая толпа сельских обывателей глазеет на них. В саду есть и деревья, вы это знаете, и к каждому дереву привязано по этикетке, чтобы не перепутать, потому что они все между собой похожи. Тридцать лет тому назад Толбойс предполагал, что эти деревья будут давать тень и удовольствие; но теперь всякая надежда исчезла. Мне надо дом, с которым мне не было бы такой возни, и я вовсе не желаю провести остаток своих дней в устройстве неприспособленного нового дома.

— Зачем же ты купил именно этот дом, если говоришь, что тебе нужен был вовсе не такой? — допытывалась Робина.

— А потому, моя милая девочка, что он все же несколько

ближе подходит, чем другие дома, которые я смотрел, к тому, что мне нужно, — объяснил я. В молодости мы решаемся делать попытки достать то, что нам нужно; достигнув зрелого возраста, мы решаемся сделать попытку удовольствоваться тем, что можно достать. Таким образом сберегаем время. За последние два года я пересмотрел домов шестьдесят, и из всей этой массы только один подходил к моему идеалу. До сих пор я молчал об этой истории, и теперь воспоминание о ней меня раздражает.

Сведения об этом доме я получил не через агента. Я встретился с человеком, указавшим мне его, в вагоне железной дороги. У этого человека один глаз был подбит. Случись мне опять встретить его, я ему посажу фонарь и на другой глаз. Он объяснил мне, что ему подшибли глаз шаром во время игры в гольф, и я поверил ему. В разговоре я упомянул, что собираюсь купить дом. Он указал мне место, где я могу найти подходящий, и время, пока поезд остановился у назначенной станции, показалось мне вечностью. Выйдя из поезда, я даже не позавтракал. У меня был с собой велосипед, и я прямо направился к указанному месту. Оказалось… да оказалось, что именно такой дом мне и нужен. Но если б он исчез, и я очнулся бы в постели, все случившееся казалось бы мне правдоподобнее.

Владелец сам отпер мне дверь. С виду он походил на военного в отставке. Что он владелец, я узнал только впоследствии. Я обратился к нему:

— Добрый вечер; если вас не затруднит, я бы просил показать мне дом внутри.

Мы стояли в сенях со стенами, обшитыми дубом. Я заметил резную лестницу, о которой мне говорил человек в вагоне, а также камин времен Тюдоров. Но вот и все, что я успел рассмотреть; в следующую минуту я полетел навзничь на песок, а дверь захлопнулась у меня пред носом. Взглянув, я увидал, что из окошечка над крыльцом высунулось лицо сумасшедшего старика. Лицо было презлющее. В руках старик держал ружье.

— Я стану считать до двадцати, — объявил он, — и если вы не уберетесь за ворота, когда кончу, то выстрелю.

Я со всех ног пустился бежать и выбежал за ворота, когда он дошел до девятнадцати.

На станции мне пришлось прождать поезда целый час, и я расспросил начальника станции о старом чудаке.

— Да, там непременно что-нибудь случится на днях, — сказал он мне. — И все это наделало индийское солнце. Оно их мозг сушит. У нас здесь таких несколько по соседству. Все они довольно покойны, пока не разразится чего-нибудь.

— Промедли я две секунды, он, мне кажется, исполнил бы

свою угрозу, — сказал я.

— А дом очень складный — не слишком большой и не слишком маленький, — продолжал начальник. — Такие дома публика любит.

— Не завидую тому, кто первый после меня попадет туда, — сказал я.

— Старик поселился здесь лет десять тому назад, — рассказывал мне начальник. — За это время, вероятно, человек тысячу предлагали перекупить у него дом. Сначала он добродушно смеялся в ответ, объясняя, что сам намерен прожить здесь в мире и тишине до самой смерти. Из трех человек двое выражали свое намерение дождаться этого события и предлагали даже заключить условие, в силу которого они могли бы вступить во владение домом, ну, хоть чрез неделю после похорон. За последнее время число покупщиков еще увеличилось: вот на нынешней неделе вы — девятый; а у нас всего четверг. Конечно, это отчасти служит извинением старику.

— Ну, а в следующего покупателя он в самом деле выстрелил? — допытывался Дик.

— Не спрашивай глупостей, — перебила его Робина. — Ведь видишь, это сказка. Расскажи нам еще что-нибудь, папа.

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать, называя мой рассказ сказкой, — обиделся я. — Если ты предполагаешь…

Робина возразила, что она ничего не предполагает; но я очень хорошо знаю, что она думает.

Так как я писатель и всю свою жизнь сочиняю истории, то люди воображают, будто я уж не знаю, что значит правда; а если тебе твои собственные дети иронически улыбаются в лицо, когда ты стараешься ограничиться самой неподкрашенной истиной, то где же поощрение к правдивости? Бывают времена, когда я даю себе обещание не говорить ни слова правды.

— Представь себе, — продолжал я, — что в этой истории почти все правда. Я уж не говорю о твоем равнодушии к опасности, которой я подвергался: чувствительная девочка встревожилась бы в тот момент, когда услыхала, что ружье было направлено на ее отца. Во всяком случае, выслушав до конца, ты могла бы сказать что-нибудь более участливое, чем: «Расскажи нам еще что-нибудь». Старик не застрелил следующего посетителя потому, что на другой день жена его, встревоженная случившимся, отвезла его в Лондон к специалисту, и бедняга умер чрез полгода в сумасшедшем доме. Мне это рассказал начальник станции, где мне опять случилось быть. Дом достался племяннику старика, и новый владелец не продает его. Это, собственно, грустная история. Конечно, индийское солнце было

причиной болезни, но она ухудшилась вследствие беспокойства, причиненного несчастному джентльмену. Да и я мог бы поплатиться жизнью. Единственное, что утешает меня, — это воспоминание о подбитом глазе сумасшедшего, пославшего меня туда.

— А из других домов ни один не оказался подходящим? — спросил Дик.

— Были, да не совсем. Вот, например, дом в Эссексе — один из первых, которые мы осматривали с мамой. Прочтя объявление, я чуть не заплакал от радости. Когда-то в нем жил священник. Королева Елизавета однажды ночевала в нем по пути в Гринвич. К публикации была присоединена фотография. Не будь этой фотографии, я бы не поверил, что это снимок с натуры. Дом находился всего в двенадцати милях от Черинг-Кросса. О цене следовало сторговаться с владельцем.

— Вероятно, какое-нибудь надувательство, — высказал свое предположение Дик.

— Как-никак, объявление не могло передать всей привлекательности дома, — продолжал я. — Единственное, что я ставлю в вину публикации, — это то, что в ней не было упомянуто о некоторых обстоятельствах. Например, не было упомянуто, что со времен Елизаветы соседство изменилось; не было сказано, что вход находится между трактиром с одной стороны и лавкой, где продавалась жареная рыба, — с другой; что сад упирался в товарные склады железнодорожной компании; что окна гостиной выходили в сторону большой химической фабрики, а столовая — на двор каменотеса. А в остальном — о таком доме можно только мечтать.

— Но на что же он после всего годен? — вопросил Дик. — Что же смотрели комиссионеры? Или они воображают, что человек способен купить дом по одной только публикации, не взглянув на него?

— Я сам предложил однажды подобный вопрос комиссионеру, — сказал я. — Он мне ответил, что они это делают, главным образом, чтобы поддержать мужество домовладельца. По словам комиссионера, человеку, собирающемуся расстаться с домом, приходится выслушивать столько порицаний дому от покупщиков, что в конце концов хозяину становится самому стыдно; он начинает чувствовать желание отделаться от него и готов хоть динамитом взорвать его. Агент говорил, что чтение объявлений в агентских каталогах единственная вещь, способная хотя несколько утешить в таких случаях домовладельца. Один из клиентов комиссионера в продолжение нескольких лет старался продать свой дом, пока

однажды не прочел случайно агентского описания своего владения. После этого он немедленно отправился домой, снял дощечку с извещением о продаже и с тех пор живет в своем владении очень довольный им. С этой точки зрения подобная система имеет хорошие стороны, но для ищущего купить дом — другое дело.

Один комиссионер прислал мне адрес дома, стоящего посреди пустыря, с видом на Большой соединительный канал. Я спросил его, где же канал, о котором он говорил. Он объяснил, что мы находимся по другую сторону его, и так как он протекает по более низкому уровню, то это единственная причина, почему его не видать из дома. Я спросил, где же красивый вид. Он отвечал, что «дальше, за углом», и, по-видимому, находил, что я предъявляю совершенно неразумные требования, желая, чтобы красивый ландшафт открывался пред самой входной дверью. Пустырь же, если он мне не нравится так, как есть, он советовал мне засадить деревьями, предлагая эвкалипты, которые, по его словам, очень быстро растут, а кроме того, дают еще и гуммиарабик.

Чтобы посмотреть третий дом, мне пришлось проехаться в Дорсетшайр. По публикации значилось, что «это самый совершенный образец нормандского стиля, может быть, единственный во всей южной Англии, относящийся к XIII веку». О нем даже упоминается в путеводителе. Я сам не знаю, что я, собственно, ожидал увидать. Я предполагал, что, вероятно, это владение принадлежит какому-нибудь обедневшему потомку баронов-разбойников, которому приходится довольствоваться уютным маленьким замком. Есть еще такие дома — хотя их и мало — избегнувшие разрушения и затерявшиеся в отдаленных округах. Более цивилизованные потомки приспособили такие дома к новейшим потребностям.

В моем воображении, прежде чем я достиг Дорсетшайра, составилось представление о чем-то среднем между миниатюрным лондонским Тауэром и средневековым коттеджем, какие рисуют в альбомах. Тут была и живописная башня, и подъемный мост, может быть, потайной ход. Вот, например, у Лемчика есть потайной ход, начинающийся из-за подвижного портрета в столовой, позади кухонного очага. Теперешние жильцы употребляют ход вместо бельевого шкафа. Мне жаль, что ему дали такое назначение. Конечно, первоначально он был устроен с совершенно иною целью. Викарий, в некотором роде антикварий, полагает, что выход находится где-нибудь на кладбище. Я говорил Лемчику, чтоб он открыл этот выход, но жена его этого не желает: ей проход нравится, как он есть. Я

всегда мечтал о потайном ходе и решил также, что непременно починю подъемный мост. Если уставить его по обе стороны цветами в горшках, получится оригинальный и живописный въезд на двор.

— Ну, что же, мост оказался налицо? — спросил Дик.

— Вовсе не оказалось никакого моста, — объяснил я. — Въезд в дом был через крытый сарай со всякими хозяйственными принадлежностями. При таких домах не полагается подъемных мостов.

— А норманнские арки были? — допрашивал Дик.

— Не арки, а арка, — поправил я его. — Была одна в кухне. Кухня-то и оказалась выстроенной в тринадцатом столетии, и, очевидно, с тех пор в ней сделано было мало перемен.

Может быть, тут помещался застенок. По крайней мере, такое получалось впечатление. Я думаю, мама не решилась бы оставить кухню на том же месте из-за кухарки. Прежде чем нанимать кухарку, приходилось бы объяснять ей: «Вы ничего не имеете против того, что придется готовить в темной кухне, в бывшей башне?»

Остальной дом был, что мы называем, «в смешанном стиле».

После того мы с мамой осматривали дом в Беркшире. По саду здесь протекала речка, где ловятся форели. Я воображал себе, как после завтрака буду отправляться ловить форелей к обеду и стану приглашать друзей на несколько деньков в «мое именьице в Беркшире» половить форелей.

У меня был знакомый — теперь он баронет — большой любитель половить рыбу. Я предполагал найти его, и как вышло бы красиво в отделе «Разных известий» прочесть: «Среди прочих интересных гостей и т. д. и т. д.»… Ну, как всегда пишут… Удивляюсь, как я еще не купил тут же удочки.

— И что же, речки с форелями не оказалось? — спросила Робина.

— Нет, речка была, даже очень заметная. Мама услыхала ее присутствие, когда мы были еще за четверть часа оттуда.

Мы вернулись в город, и мама купила большого размера пузырек нюхательной соли.

От шума реки у мамаши разболелась голова, а я чуть с ума не сошел. Контора комиссионера оказалась как раз напротив станции.

На обратном пути я задержался полчаса, чтобы высказать ему свое мнение о нем, и опоздал из-за этого на поезд. Я бы попал вовремя, если б комиссионер не перебивал меня каждую минуту.

Он уверял меня, что уж не раз говорил о нестерпимом шуме с владельцем писчебумажной фабрики, — вообще, по-видимому,

сочувствуя всем моим жалобам, — и уверял, что в реке когда-то водились форели. Это исторический факт.

По его мнению, если купить и пустить в реку некоторое количество самок и самцов, то и теперь можно их снова развести.

Я сказал ему, что вовсе не стремлюсь сделаться вторым Ноем, и ушел, объявив на прощанье, что подам на него в суд за сообщение ложных сведений. Он же надел шляпу и отправился к своему адвокату, чтоб тот начал против меня дело за клевету. Впрочем, полагаю, что в конце концов он раздумал.

Мне, наконец, надоело видеть, как каждый день моей жизни превращается в первое апреля. Дом, который я теперь купил, не служит воплощением всех моих желаний, но допускает возможность кое-что сделать. Мы вставим окна с переплетами и поднимем каминные трубы. Можно будет над входной дверью поместить дощечку с числом 1553. Это придаст известный тон, и цифра пять в старинном стиле красива. Со временем дом может превратиться в настоящий замок времен Тюдоров.

Очень может быть, что найдутся даже какие-нибудь предания, связанные с этим домой. Почему там не окажется комнаты, где кто-нибудь ночевал? Не королева Елизавета — надоела она. Ну хотя бы королева Анна? По всем сведениям — спокойная, милая старушка, которая никому не принесла бы хлопот.

Или еще лучше — Шекспир. Он ведь постоянно разъезжал между Лондоном и Стрэтфордом. Дом мог оказаться у него почти на дороге.

«Комната, где ночевал Шекспир». Это совершенно новая идея. Там есть кровать с балдахином на четырех колоннах. Матери вашей она не понравилась. Она уверяет, что в ней непременно есть жители. Мы могли бы увесить стены комнаты сценами из произведений Шекспира, а над дверью поставить его бюст.

Если меня оставят в покое и не станут надоедать разными пустяками, я, вероятно, в конце концов сам поверю, что он действительно ночевал в этой постели.

— А насчет шкафов как? — допрашивал Дик. — Маменьке непременно подавай шкафы.

Положительно непостижима страсть всех женщин к шкафам; я уверен, что даже на небе их первым вопросом будет: «А дадут мне шкаф?» Женщина готова бы, кажется, держать и мужа и детей в шкафу: ей, вероятно, казалось бы, что она достигла совершенства в своем хозяйстве, если бы ей удалось уложить в собственный шкаф всю семью, обернув ее камфарной бумагой.

Я знал женщину, счастливую с женской точки зрения. Она жила в доме, где было двадцать девять шкафов — вероятно, этот дом был построен женщиной.

Многие шкафы были очень поместительны, и двери их не отличались от прочих комнатных дверей. Гости часто, пожелав спокойной ночи, с зажженной свечей исчезали в шкафу, чтобы в следующую минуту появиться обратно с растерянным видом. Муж этой барыни рассказывал мне, как однажды один из злополучных гостей, забыв что-то в столовой и вернувшись туда, уже не мог выбраться, наталкиваясь на одни шкафы, и, совершенно обескураженный, заночевал, наконец, в одном из них.

Когда хозяйки не бывало дома, никто не знал, где найти какую-нибудь вещь; а когда дама возвращалась, она сама знала только, где вещь должна была бы быть. Если случалась необходимость очистить один из этих шкафов, чтобы произвести ремонт, на лице хозяйки никто не видал в продолжение, по крайней мере, трех недель признака улыбки. Она при этом сетовала на неудобство, когда не знаешь, куда деваться с вещами.

Вообще женщине не нужен дом, в собственном смысле слова. Ей нужно непременно гениальное произведение. Вам кажется, что вы нашли идеальный дом. Вы показываете жене древний — чуть не времен Адама — камин. Вы постукиваете зонтиком по обшивке передней и произносите многозначительно: «Дуб, цельный дуб!»

Вы обращаете ее внимание на открывающийся вид и рассказываете ей местные предания.

Вы указываете ей солнечные часы и снова возвращаетесь к камину адамовых времен. А она отвечает вам: «Это все очень мило; а где же будут спать дети?»

Точно тебя ведром холодной воды окатят.

Ну, если не дети, так поднимается вопрос о воде. Непременно понадобится знать, откуда доставляется она.

Вы показываете, откуда; вам отвечают восклицанием: «Как, из такой грязи!»

Впрочем, неудовольствие высказывается и в том случае, если воду достают из колодца, или даже из цистерны, где собирается вода, падающая с неба.

Женщина никогда не поверит, что вода может быть хороша иначе, как из водопровода. По-видимому, предполагается, что городское управление фабрикует ее ежедневно по какому-то ему одному известному рецепту.

Если вам удается примирить вашу спутницу с водой, будьте уверены, что трубы дымят: «Сразу видно, что дымят».

Вы напрасно уверяете ее, что такие трубы, в стиле шестнадцатого века, с резными украшениями, не могут дымить: они не способны на такой неартистический поступок. Вам выражают надежду, что вы окажетесь правы.

Потом желают осмотреть кухню. Где она? Вы не знаете, где ее

найти, и не поинтересовались этим вопросом. Кухня, во всяком случае, должна быть где-нибудь. Вы отправляетесь на поиски ее.

Оказывается, что она никуда не годится, так как расположена в конце дома, совершенно противоположном столовой. Вы указываете на то, что это даже удобно, так как не будет запаха. Тут ваша собеседница чувствует себя задетой за живое:

«Разве не вы первый ворчите, когда кушанье холодное?» И на голову всех мужчин сыпятся обвинения в непрактичности.

Один вид пустого дома выводит женщину из себя.

Конечно, печь никуда не годится. Кухонная печь всегда никуда не годна.

Вы обещаете поставить новую. Через шесть месяцев у вас будут требовать восстановления старой. Но было бы жестоко высказать это. Обещание новой печи пока действует успокоительно.

Женщина никогда не теряет надежды, что настанет день, и у нее будет вполне удовлетворяющая ее печь, о какой она мечтала еще до замужества.

Уладив вопрос о печи, вы воображаете, что теперь замолкнет всякая оппозиция. Но вдруг поднимается разговор о таких вещах, о которых только женщина да разве санитарный инспектор могут говорить, не краснея.

Много надо такту, чтобы ввести женщину в новый дом. Она становится нервной, подозрительной…

— А вот я рад, что ты вспомнил о шкафах, Дик, — вернулся я к нашей беседе. — Именно шкафами я надеюсь подкупить твою мать. С ее точки зрения это будет одна из блестящих сторон дома. Там их четырнадцать. Я надеюсь, что они помогут мне обойти много подводных камней. Поедем с нами, Дик. Как только мама начнет: «С практической точки зрения», ты сейчас пусти что-нибудь о шкафах, не резко, чтобы было сейчас видно, что все подстроено, а так, с подходцем…

— А место для игры в теннис найдется? — перебил Дик.

— Уж есть прекрасная площадка, — успокоил я его. — Я еще прикупил соседний лужок: там можно будет держать корову. А может быть, и лошадей разведем.

— Можно будет устроить крокет, — продолжала Робина.

— Можно и это, — согласился я.

На таком большом месте удастся, вероятно, и Веронику выучить играть. Есть натуры, требующие простора. При большой площадке, окруженной крепкой железной сеткой, не придется тратить столько времени на разыскивание шара Вероники, закатившегося неизвестно куда.

— А для гольфа ничего не найдется подходящего

поблизости? — с опасением в голосе спросил Дик.

— Не могу сказать наверное, — ответил я. — Приблизительно на расстоянии мили есть пустырь, кажется, ничем не занятый. Я думаю, что запросят не особенно…

— А когда же все будет готово? — полюбопытствовал Дик.

— Я думаю начать переделки сейчас же, — объяснил я. — К счастью, неподалеку находится коттедж охотничьего сторожа. Агент хотел устроить, чтоб нам его уступили на год; домик самый первобытный, но прелестно стоит на опушке леса. Мы обмеблируем пару комнат, и каждую неделю я буду проводить там, несколько дней, наблюдая за переделками. Меня всегда считали хорошим наблюдателем. Мой покойный отец говаривал бывало, что это единственное занятие, интересующее меня.

Находясь на месте и торопя рабочих, надеюсь, что «сокровище» — как ты назвал его — поспеет к весне.

— Никогда не выйду замуж, — заявила Робина.

— Не падай так скоро духом, — успокаивал ее Дик. — Ты еще молода.

— Я не хочу выходить замуж. У нас с мужем вечно возникали бы ссоры. А из Дика с его головой ничего никогда не выйдет.

— Извини меня за недогадливость, — сказал я, — но какое отношение имеют дом, твои ссоры с мужем — если таковой окажется у тебя — и голова Дика?

Вместо всякого объяснения Робина вскочила со стула, и не успел Дик опомниться, как обхватила его голову руками.

— Что же делать, дорогой Дик, — обратилась она к нему, — у умных родителей дети всегда неудачные. Но все же и от нас с тобой будет какой-нибудь толк на свете. Как ты думаешь?

Оказалось, что у них уже имелся готовый план, чтобы Дик, окончательно провалившись на экзамене, отправился в Канаду, захватив с собой Робину, и занялся сельским хозяйством. Они собирались разводить скот, скакать по прерии, располагаться бивуаком в первобытном лесу, бегать на лыжах, переносить каноэ на спине, спускаться по стремнинам и тому подобные вещи — одним словом, насколько я мог понять, вести бродячую жизнь… Когда и кем должны были исполняться хозяйственные работы, об этом умалчивалось. «Мамочку» и меня тоже хотели прихватить с собой и дать нам приют до конца дней. Предполагалось, что мы еще немного погреемся на солнышке, а затем мирно переселимся в лучшую жизнь. Робина пролила по этому поводу несколько слезинок, но скоро успокоилась, вспомнив о Веронике, которую собирались со временем выдать замуж за какого-нибудь честного фермера. Пока Вероника совершенно не соглашалась с этим планом. По ее мнению, к ней очень идет коронка: вообще она

мечтает о титулованном муже. Робина проговорила на эту тему около десяти минут и в конце концов убедила Дика, что жизнь в первобытных лесах с детства составляла цель его стремлений. Вообще Робина искусница в подобных убеждениях.

Я пытался образумить их, но убедить в чем-нибудь Робину, раз она забрала мысль в голову, — все равно что пытаться надеть узду на двухлетнего жеребенка.

Найденный мною коттедж должен был спасти всю семью. Лицо Робины принимало восторженное выражение, как только она начинала рассуждать на эту тему. Точно она созерцала какое-то небесное видение. Она сама собиралась готовить кушанье, встав рано, доить коров и затем идти собирать яйца. Мы должны были добывать себе все сами для своего незатейливого существования. А как полезно это будет для Вероники. С высшим образованием нечего спешить! Вероника будет оправлять постель, мести комнаты… Вечером, взяв рабочую корзиночку, она должна шить, между тем, как я буду рассказывать занимательные вещи, а Робина тихонько ходить взад и вперед, исполняя разные домашние дела, как добрая фея. Если мамочка будет чувствовать себя в силах, и она присоединится к нам. Мы все окружим ее любовными попечениями. Фермер-англичанин, что бы там ни говорили, должен кое-что знать. Может быть, Дику удастся поучиться практическому хозяйству. Робина не высказала этого прямо, но дала понять, что, окруженный таким примером, я также войду во вкус честной работы и наконец выучусь чему-нибудь полезному.

Робина рассуждала около четверти часа. Когда она кончила, ее мысль показалась мне очень хорошей. У Дика только что началась вакация. Целых три месяца ему нечего будет делать как «шляться» — по его собственному картинному выражению. Во всяком случае, сельские работы удержали бы его от глупостей.

Гувернантка Вероники собралась уходить. Гувернантки Вероники обыкновенно уходят приблизительно через год. Я иногда думаю, не следует ли поместить в объявление, что требуется особа «без совести». Потому что в конце года гувернантка непременно заявляет мне, что «ее совесть не позволяет ей дольше оставаться у нас, так как она чувствует, что получает жалованье даром». И не потому, что девочка была дурная; напротив, она очень милая, и вовсе не глупа, но, как объяснила одна немка, которой Дик своим разговором помогал усовершенствоваться в английском языке, «ее ничто не берет». Мать утверждает, что «в ней все пропадает, как в бездонной бочке». Может быть, если бы предоставить Веронике на некоторое время «порасти травою», что-нибудь в ней и обнаружилось бы.

Робина думает также про себя, что несколько времени, проведенного в спокойной полезной деятельности, вдали от другой праздной молодежи, поможет ей сделаться практической девушкой. У Робины не часто проявляется подобное настроение, и идти наперекор ему, когда оно появляется, не следует.

Мамочку было уговорить не совсем легко. Чтобы ее трое деток оказались способными управиться с домиком из шести комнат, казалось ей фантастическим сном. Я объяснил ей, что ведь, на всякий случай, и я буду под рукой два-три дня в неделю и могу присмотреть. Но это не удовлетворило ее. Нам удалось убедить ее согласиться на выполнение плана Робины только торжественным обещанием, что ей немедленно телеграфируют, если Вероника закашляет.

В понедельник мы нагрузили одноконную повозку тем, что сочли самым необходимым; Дик и Робина поехали на велосипедах, а Вероника, усевшись на матрацах и подушках, поместилась на задке повозки. Я должен был приехать с вечерним поездом на следующий день.

III

Утром меня разбудила корова. Я не знал, что это наша корова — по крайней мере, в это время еще не знал. Я вовсе не подозревал, что у нас есть корова. Я взглянул на часы: было половина третьего. Я думал что она, может быть, снова уснет; но, очевидно, корова решила, что день уже начался.

Я подошел к окну; на небе красовался полный месяц. Корова стояла у калитки, просунув голову в сад, вытянув шею, и смотрела на небо, что придавало ей вид длинноухого аллигатора. Мне раньше не приходилось иметь дело с коровами, и я не умею говорить с ними. Я просил ее «успокоиться и лечь», и грозил, что брошу в нее сапогом. По-видимому, ей было приятно, что у нее нашелся слушатель, и она взяла еще несколько нот сверх программы. Я никогда прежде не знал, что у коровы может быть такой голос. Нечто подобное встречается иногда на городских окраинах — или, скорее, прежде встречалось. Не знаю, не исчез ли подобный музыкант вполне теперь, но во время моей юности он был довольно обыкновенен. У него вокруг талии была обвязана волынка, сзади прикреплен барабан; с лица спускался целый ряд трубок, а колокольчики и колотушки, кажется, висели на каждом суставе. Странное существо играло на всех этих инструментах и посмеивалось. Корова напомнила мне того музыканта, только у нее, сверх всего, еще был зычный голос и она не улыбалась — что говорило в ее пользу.

Я надеялся, что она отстанет, если я притворюсь спящим. Поэтому я демонстративно закрыл окно и вернулся в постель. Но оказалось, что я этим только раздосадовал ее. «Он не обратил на меня внимания, — вероятно, рассуждала она про себя. — Может быть, я не в голосе, или не проявила достаточно чувства». Корова упражнялась около получаса, и затем калитка, на которую она напирала, уступила с треском. Это испугало корову, и я слышал, как она, топая, помчалась прочь. Но только что я было вновь погрузился в дремоту, как на подоконник уселась пара голубей и принялась ворковать вовсю. Это очень мило, когда вы находитесь в известном расположении духа. Однажды я даже написал очень прочувствованное стихотворение, сидя под деревом и слушая воркование голубя. Но то происходило под вечер. Теперь же единственное, чего я жаждал, было ружье. Трижды я вставал и спугивал голубей. В третий раз я оставался у окна до тех пор, пока они наконец не поняли, что вовсе не нужны мне. Мое же «шуканье» перед тем они, очевидно, считали за шутку.

Опять я улегся в постель; но тут начала кричать сова. Я

иногда считал этот протяжный крик довольно привлекательным — в нем есть что-то таинственное. Но уже Суинберн в одном из своих стихотворений говорит, что редко наши желания и обстановка совпадают. Я люблю сов. Но зачем сове вздумалось закричать именно в такой час? Одиннадцать часов ночи, когда вам не видно совы, а хотелось бы видеть ее, — самое подходящее время для совы. Утром же, в предрассветные сумерки, когда она сидит на крыше хлева, у нее был вид глупый. Она сидела, беспомощно хлопая крыльями, и орала во все горло. Чего ей было нужно и что получить казалось ей решительно невозможным, — ей-богу не знаю. По-видимому, и она сама убедилась в этом минут через двадцать, замолчала и отправилась восвояси. Я думал, что теперь наконец наступила для меня блаженная минута покоя, как вдруг ворона — существо, одаренное от природы голосом, похожим на звук разрываемого коленкора, смешанного с звуком оттачиваемой пилы — поместилась где-то в саду и начала по своему восхвалять Создателя. У меня есть приятель, пишущий иногда стихи для вечерних газет и описывающий «тихое местечко, заснувшее в неге». Как-нибудь я приглашу его к нам приехать с субботы и остаться до понедельника — пусть он насладится здешней «тишиной».

Карканье вдруг оборвалось на резкой ноте и водворилась тишина.

«Еще пять минут такого покоя, — подумал я, — и я засну». Я чувствовал уже, как сон охватывал меня. Но не успел я докончить своей мысли, как корова снова вернулась. Должно быть, она ходила только напиться, потому что голос ее стал еще громче.

Тут мне пришла мысль, не воспользоваться ли случаем, набросать несколько мыслей о солнечном восходе. У писателя часто просят описания солнечного восхода, и серьезные читатели, слышавшие о солнечном восходе, жаждут подробностей.

Я обыкновенно выбирал для наблюдений декабрьское или январское утро. Но кто знает: быть может, мне как-нибудь понадобится и «летний восход», с пением птиц и цветами, окропленными росой: это подойдет, например, к описанию какой-нибудь дочки мельника или замечтавшейся гусопаски…

Однажды я встретил собрата по перу около семи часов утра в Кенсингтонском парке. Он брел совсем сонный и с такой кислой физиономией, что я с минуту колебался, заговорить ли с ним. Я знаю, что он обыкновенно поднимается около одиннадцати. Однако, собрав всю свою храбрость, я подошел к нему.

— Какая вы ранняя пташка, — заговорил я.

— Рано для всякого, кто не сумасшедший, — ответил он.

— Что с вами? — допрашивал я. — У вас бессонница?

— У меня? Да я не могу прислониться к спинке стула или к дереву, чтобы не заснуть через секунду.

— Что же произошло? — продолжал я. — Или вы прочли «Самодеятельность» и «Секрет успеха» Смайлса? Или вы слишком поздно легли? Ступайте-ка домой и выспитесь.

Я видел, что у него путного из ранней прогулки не выйдет.

— Высплюсь через месяц, когда кончу эту проклятую повесть, которую пишу, — сказал он и добавил: — Послушайтесь моего совета и никогда не избирайте героиней своей повести девушку из колоний. В наше время это сумасшествие. Моя героиня милая, добрая девушка. У нее золотое сердце. Но я из-за нее скоро превращусь в тень. Мне нужно было что-нибудь свежее, оригинальное. Она — девушка — поднимается рано утром и скачет без седла и чепрака, верхом на лошади…

В Австралии это бывает сплошь и рядом. Конечно, обстановка местная — ну, эвкалиптовые деревья, кенгуру и все в таком роде…

И вот она попадает в Лондон, встает в шесть часов и отправляется бродить по тихому городу…

Ох, лучше бы мне никогда не задумывать такой вещи! Ведь приходится вставать в пять часов, чтоб испытать ее впечатления. Я прошел сегодня утром шесть миль. И в соборе побывал, где она вспоминала о матери, и на Вестминстерский мост прошел, где она, сидя на парапете, читала Вордсворта, пока полисмен не прогнал ее.

А это, — он указал на аллею, по которой мы шли, — одно из ее любимых мест, которым она заканчивает прогулку. Сюда она приходит, чтобы послушать Черноголовку.

— Ну, теперь вы ведь все уже проделали, — попытался я утешить его.

— Проделал все! — с горьким смехом повторил он. — Только что начинаю. Еще осталось пройти весь Ист-Энд, а там ей захочется прокатиться верхом. Понимаете, что это значит? Гайд-парк не удовлетворяет ее. Она поедет куда-нибудь в Ричмонд. Вот я и должен описать, как она будет наслаждаться всеми подобными прелестями.

— Разве вы не можете всего этого вообразить? — предложил я.

— Могу вообразить ее удовольствие, но у меня должен быть фундамент для дальнейшей постройки. Конечно, сидя на лошади, она будет думать о разных вещах. Ну, как описать чувство всадника, когда сам давно позабыл, с какой стороны садятся на лошадь.

Мы подошли к речке, протекающей через парк. Меня

удивило, отчего мой приятель вдруг так потолстел. Оказалось, что под пальто у него купальное полотенце.

— Я знаю, что насмерть простужусь, — жаловался он, расшнуровывая штиблет.

— Да разве нельзя оставить купанье до лета? — спрашивал я, — или отправить ее в Остенде?

— Нет, это не по ней. Ее бы Остенде не заинтересовал.

— Но разве женщинам позволяется купаться здесь?

— Да она и не будет купаться здесь. Она отправится в Гринвич на Темзу. Но, думаю, ощущение получается одинаковое. Она должна сообщить о нем во время завтрака и скандализировать всех присутствующих. Мне думается, в том-то и заключается ее главная цель.

Он вылез из воды весь синий. Я помог ему одеться, и, к его счастью, ему попался ранний кэб. Критики впоследствии нашли его героиню очаровательной. Даже кто-то из них сказал, что интересно было бы с ней познакомиться.

Вспоминая это приключение моего собрата, я решил, что, выйдя теперь и набросав несколько заметок, я могу избавить себя от хлопот впоследствии, и, не одеваясь вполне — так только накинув кое-что, — отворил дверь и сошел вниз.

Собственно говоря, мне следовало бы сказать: «отворил дверь и очутился внизу». Признаю, что сам был виноват. Мы обсуждали этот вопрос накануне вечером, и я сам советовал Веронике быть осторожной. Лестница без перил, и дверь спальни открывается прямо на лестницу. Площадки нет. Я и сказал Веронике:

— Смотри, не вылети из спальни, как всегда, бомбой. Как видишь, лестница крутая, площадки нет и в сенях кирпичный пол. Недолго свалиться.

Дик прибавил свой совет к моему: «Со мной так и случилось в первое утро. Я прямо из спальни очутился в кухне. Не скажу, чтоб было приятно. Смотри же, не мечтай».

Робина свалилась с подносом в руках. Она говорит, что никогда не забудет ужаса этой минуты, когда, сидя на кухонном полу, она звала Дика, и собственный ее голос, казалось ей, звучал откуда-то издалека. «Что, разбилась?» — спрашивала она, а Дик ответил: «Вдребезги». Но тут оказалось, что они оба подразумевали различные вещи: Робина имела в виду собственную голову, а Дик — посуду. Робина говорит, что в эти мгновения перед ней пронеслась вся ее жизнь. Она давала Веронике ощупать шишку.

Вероника была этой шишкой несколько разочарована: она ожидала чего-либо большего; но все-таки обещала быть осторожной. Мы же все решили, что, если, по своей обычной

рассеянности, она скувырнется, это только послужит ей в пользу. Все это я вспомнил, лежа на полу и злясь на весь свет.

И как это они могут спать при таком шуме? Неужели он разбудил меня одного во всем доме? Дик спал в угловой комнате — он еще меня не слыхал, но окна Робины и Вероники выходили как раз над коровой. Они, значит, настоящие чурки, если корова их не разбудила. Следовало бы, чтобы Робина сказала мне, прощаясь: «Будь же осторожен, папа», — и я бы вспомнил.

Нет в нынешних детях никакого чувства!

Я поднялся и направился к двери. Корова продолжала мычать.

Я только и думал, как бы добраться до нее и чем-нибудь швырнуть в нее.

Но найти дверь оказалось вовсе не так просто, как я воображал.

Ставни были заперты, и господствовал полный мрак. Мы имели в виду обмеблировать коттедж только самым необходимым, но комната показалась мне загроможденной. Тут оказалась скамеечка для доения — вещь, которую нарочно делают потяжелее, чтобы корове нелегко было ее опрокинуть. Я раз двенадцать споткнулся на нее. Наконец я схватил ее и понес с собой, рассчитывая запустить ею в корову, то есть когда найду выход. Я знал, что была дверь в гостиную, но не мог вспомнить ее точного положения. Мне пришло в голову, что, пробираясь по стенке, можно добраться и до нее. Найдя стену, я пустился в путь, исполнившись надежды. Так я подвигался осторожно, постоянно встречая на пути все новые и новые вещи, — вещи, о которых ровно ничего не помнил и которые приводили меня все в новые места. Я перелез через что-то, что предполагал пивным бочонком, и очутился среди бутылок. Их были дюжины дюжин. Чтобы выйти из этого лабиринта, пришлось покинуть стену, но я снова нашел ее и снова попал в бутылочное царство: казалось, весь пол был усеян бутылками. Несколько дальше я споткнулся о второй пивной бочонок; конечно, это был все один и тот же: но я этого не знал. В эту минуту мне казалось, что Робина вознамерилась устроить у нас пивоварню. Снова я нашел свою скамейку и снова попал в бутылки.

Позднее, при дневном свете, оказалось нетрудно объяснить, как все произошло. Я преспокойно бродил вокруг буфета.

Теперь же я в отчаянии вырвался из бутылок и бочонков и смело устремился в пространство.

Еще мгновение, и я увидал над собой небо: как раз у меня над головой мерцала звездочка. Если бы я вполне проснулся и корова перестала бы мычать хотя на минуту, я бы сообразил, что

попал в камин. Но при существовавшем положении вещей я совершенно растерялся. Все это казалось мне каким-то сказочным приключением.

Явись предо мной какое-нибудь чудище, я бы пустился с ним в разговор. Я сделал еще шаг вперед, и звезда исчезла, будто ее кто-то задул. И это меня вовсе не удивило. Я был приготовлен ко всему.

Наконец я напал на дверь и отворил ее без труда. Передо мною стоял лес. Коровы не было видно, но голос ее слышался. Все это казалось мне вполне естественным. Я намеревался отправиться в лес, и не сомневался, что встречу корову там, и она окажется знающей какие-нибудь стихи.

На свежем воздухе я постепенно пришел в себя и понял, почему не мог видеть коровы. Оказалось, что нас разделяет дом. Какими-то судьбами я попал на задний двор. Я все еще держал скамейку для доения в руке, но корова уже не смущала меня. Пусть она разбудит своим мычанием за калиткой Веронику; я этого не мог достигнуть никогда.

Усевшись на скамейке, я вынул записную книжку, написал заглавие: «Восход солнца в июне: наблюдение и впечатления» и поспешил отметить, что около трех часов заметен слабый свет, и по мере того, как проходит время, он становится сильнее.

Мне самому это показалось мелкой водицей, но еще недавно я читал повесть реалистического направления, которую очень хвалили за правдивость изложения. На подобное описание есть спрос у известного класса читателей. Я также занес заметку, что голуби и вороны, по-видимому, раньше других детей матери-природы приветствуют наступающий день, и что желающие послушать ворона во всей красоте его голоса должны подняться нарочно для этого за четверть часа до восхода солнца. Больше мне о нем не пришло ничего в голову в эту минуту. Что касается впечатлений, я ровно никаких не ощущал.

Я закурил трубку и стал ждать появления солнца. Небо передо мной окрасилось в бледно-алый цвет, переходивший с каждой минутой в более яркий оттенок. Я уверял, что всякий, кому не приходилось производить такие наблюдения, считал бы, что следует сосредоточить свое внимание на этой части горизонта. Я так и сделал; но солнце не появлялось. Я раскурил еще трубочку. Небо передо мной пылало. Я набросал несколько строк, сравнивая мелкие облачка с невестой, вспыхивающей ярким румянцем, видя жениха…

Это было очень красиво, если бы скоро облачка не окрасились в зеленый цвет — а разве красива зеленеющая невеста. Потом облака сделались желтого цвета, и уж это

окончательно обескуражило меня. Однако я еще подождал. Небо передо мной с каждым мгновением бледнело.

Я начал бояться, уже не случилось ли чего с солнцем. Если б я не был достаточно сведущ в астрономии, я подумал бы, что оно передумало и ушло обратно к себе. Я поднялся, чтоб взглянуть, в чем дело, и оказалось, что солнце давным-давно встало и горело позади меня. Как рассудить, чья тут была вина. Я положил трубку в карман и направился к входной двери. Корова продолжала стоять на своем месте; она, очевидно, обрадовалась, увидав меня, потому что замычала благим матом.

До меня донесся свист.

Свистел мальчик-работник.

Я окликнул его; он перелез через забор и направился ко мне.

Проходя мимо коровы, он кивнул ей и сказал:

— Доброго утра!

— Ты знаешь эту корову? — спросил я.

— Как сказать? В родстве мы с ней не в родстве, а по делу встречаемся.

Что-то в этом мальчике меня раздражало. Он не казался мне настоящим работником, сыном крестьянина.

Но я не стал дальше раздумывать об этом, а спросил:

— Чья это корова?

Он уставился на меня.

— Я хочу знать, кто ее хозяин, — допрашивал я, — чтобы отвести ее к нему.

— Простите, да где же вы живете? — спросил мальчик. Я начинал сердиться.

— Где? Конечно, в этом коттедже. Не пришел же я издалека, чтоб слушать эту корову. Не болтай попусту. Я спрашиваю, чья корова?

— Да ваша собственная.

Теперь пришла моя очередь опешить.

— Да у меня нет коровы, — ответил я.

— Нет есть, вы ее купили.

— Да когда же? — воскликнул я.

— Да ваша барышня заходила к нам во вторник… Только такая сердитая… Так и сыпет словами. Не даст слова выговорить.

Я начал соображать. Очевидно, Робина приобрела корову. Я спросил:

— А на каких условиях?

— То есть, как это?

— А барышня справилась о цене?

— Она о пустяках не стала разговаривать…

— Ну, сказала, по крайней мере, зачем ей корова…

— Да, дала понять, что хочет иметь свое молоко.

Я удивился предусмотрительности Робины.

— И это есть та самая корова?

— Я пригнал ее вчера вечером. Стучаться не стал; да, признаться сказать, никого не было в доме.

— Чего она ревет?

— Полагаю… думаю, что просит, чтоб ее подоили.

— Она орет с половины третьего, ведь не станут же ее доить ночью?

— И я того мнения, что корова вообще глупое животное, — заключил мальчик.

Этот мальчик производил на меня какое-то гипнотизирующее влияние. Все окружающее как-то сразу получило в моих глазах другую окраску, чем прежде. Присутствие коровы показалось мне нелепостью: вместо нее у калитки следовало стоять крестьянину с молоком. Я нашел, что лес страшно запущен: нигде ни одной дощечки с надписями «По траве не ходить!» и «Не курить!». И хоть бы одна скамейка. Коттедж попал сюда, очевидно, случайно. Где же улица? Птицы все выпущены из клеток. Одним словом, все вверх дном.

— Ты в самом деле работник с фермы? — спросил я мальчика.

— А то как же! Или вы меня за переряженного артиста принимаете?

Я, действительно, предполагал нечто подобное.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Энери Опкинс (вместо Генри Гопкинс, не выговаривая «г»).

— Откуда ты родом?

— Из Камден-Тана (вместо Тоуна).

Хорошее начало жизни на лоне природы! Где могло находиться то место, откуда Генри Гопкинс был родом? Он в рай внес бы с собой атмосферу городского предместья.

— Хочешь получить шиллинг? — спросил я.

— Предпочел бы заработать его….

— Брось свое городское наречие и заговори по-беркширски. Я дам тебе, когда выучишься, полсоверена. Выговаривай букву г.

— А вы уверены, что это будет по-беркширски? — спросил он. Очевидно, какая-то подозрительность у него врожденная черта.

— Может быть и не на совсем чистом беркширском наречии, — согласился я, добавив: — Это в литературе такой язык называют «наречием». И на двенадцать миль вокруг его понимают. Он должен возбуждать чувство сельской простоты. Как-никак, это не язык лондонского предместья, на котором ты объясняешься.

Я еще раз обещал ему время от времени шиллинг в виде поощрения. Он обещал зайти вечером за книжками, которые, как я надеялся, должны были помочь ему. Затем я вернулся в коттедж и позвал Робину. Она ответила мне как будто виноватым тоном. Ей показалось, что я уже давно зову ее. Когда я объяснил ей, что этого не было, она сказала:

— Как странно! Я уже больше часа как говорила Веронике: «Папа зовет». Должно быть, мне пригрезилось.

— Ну, теперь проснись. Сойди вниз и взгляни, что случилось с твоей проклятой коровой.

— А! — воскликнула Вероника. — Она пришла?

— Пришла. Уже давно. По ее мнению, ее следовало бы подоить несколько часов тому назад.

Робина ответила, что придет сию минуту.

Минута превратилась в двадцать пять минут, но и это превзошло мои ожидания. С Робиной явилась также Вероника. Робина сказала, что сошла бы раньше, если бы не пришлось ждать сестры. А Вероника говорила то же о Робине. Меня все это начало раздражать. Было уже чуть не двенадцать часов, а о завтраке еще нечего было и думать.

— Ну, довольно рассуждать, — сказал я. — Ради бога, примитесь за дело и подоите корову. Несчастное животное падет по нашей вине.

Робина бродила по комнате.

— Папа, тебе не попадалась скамеечка для доения? — спросила она наконец.

— Тринадцать раз попадалась, — ответил я и принес злополучную скамейку.

Мы все двинулись процессией; Вероника вперед с оцинкованным железным ведром в руках.

У меня в уме вернулся вопрос: «Умеет ли Робина доить корову?» Раз Робина забрала себе в голову, что ей нужна корова, она потребовала, чтоб ее ей доставили немедленно, будто она и дня не могла обойтись без нее. Ее следующей заботой было купить скамейку для доения. Скамейка, выбранная ею, была с большим вкусом украшена выжженным рисунком коровы; на мой взгляд, она была немного тяжеловата, но зато, наверное, будет прочна.

Подойника Робина не успела приобрести. Его временно заменило оцинкованное ведро.

Побывав в городе, Робина собиралась купить что-нибудь художественное. Но хорошо бы она сделала, если бы для выполнения программы предварительно взяла несколько практических уроков доения. Я заметил, что по мере

приближения к корове шаг Робины становился менее ровным. Немного не доходя до калитки, Робина остановилась со словами:

— Предполагаю, что есть только один способ доить корову?

— Может быть, есть и несколько, с которым тебе придется ознакомиться, если ты со временем соберешься принять участие в конкурсе по этому предмету, — ответил я. — А сегодня утром, особенно ввиду позднего часа, я на твоем месте применил бы самый обыкновенный метод, лишь бы он дал результаты.

Робина села и поставила ведро под корову.

— Предполагаю, все равно… с какой стороны начать? — проговорила моя дочка.

Мне стало очевидно, что она не имела ни малейшего понятия об операции, к которой готовилась приступить.

Я ей высказал свое мнение, прибавив несколько размышлений по этому поводу. Время от времени отеческое наставление — вещь полезная. Обыкновенно мне в таких случаях приходится взвинчивать самого себя. Но в это утро я чувствовал себя в ударе: все способствовало к тому.

Я изложил Робине задачи и способность доброго гения-хозяйки в том виде, как они представлялись не ей, а мне. Также и Веронике я сообщил результаты моих размышлений в течение многих недель о ней и о ее манерах.

Кстати уже я поделился с обеими о том, что думал о Дике.

Со мной такие вещи случаются раз в полгода, и прекрасные результаты дают себя чувствовать в продолжение дней трех.

Робина отерла слезы и схватилась за первый сосок, попавшийся под руку. Корова, не говоря ни слова, брыкнула, опрокинула пустое ведро и пошла прочь, выражая презрение каждым волоском своего тела.

Робина, горько плача, последовала за ней. Трепля корову по шее и позволяя ей тереться носом о мое плечо, что, по-видимому, успокаивало ее, мне удалось убедить ее спокойно переждать, пока Робина в течение десяти минут изо всей силы работала, как насос высокого давления. В результате получилось стакана полтора, хотя, по всем видимостям, можно было ожидать пять-шесть галлонов.

Робина совершенно упала духом и созналась, что виновата.

— Если теперь корова умрет, — говорила она, — я никогда не прощу себе.

Вероника при этом тоже залилась слезами, а корова, из сочувствия ли им или побуждаемая собственным горем, снова принялась неистово мычать. Мне посчастливилось открыть пожилого рабочего, сидевшего под деревом, закусывая ветчиной и покуривая трубочку, и мы уговорились, что он будет, впредь до

нового распоряжения, доить корову ежедневно.

Мы оставили его за работой, а сами вернулись в коттедж.

Дик встретил нас в дверях веселым «Доброе утро». Он справился, слышали ли мы шум реки, и справился также, скоро ли будет готов завтрак. Робина выразила предположение, что это счастливое событие произойдет скоро после того, как скипит чайник и поджарится ветчина, а Вероника накроет на стол.

— А я думал, что добрый гений…

Робина заявила, что, если еще раз он посмеет упомянуть «о добром гении», она отколотит его, а сама уйдет и ляжет спать. Пусть другие справляются, как хотят.

У Дика есть одна добродетель: он философ.

— Ну, младший член семьи, давай примемся за дело, — обратился он к Веронике. — Нам всем полезно похлопотать.

— Некоторых это злит, — ответила сестра.

Мы сели за завтрак в половине десятого.

IV

Наш архитектор, или скорее его помощник, прибыл в пятницу утром.

Он сразу понравился мне. Он застенчив и поэтому кажется неуклюжим. Но, как я объяснил Робине, именно из застенчивых юношей выходят самые дельные люди: трудно было бы найти второго такого застенчивого малого, каким был я в двадцать пять лет.

Робина заметила, что тут другое дело: авторы в счет не идут. Отношение Робины к литературной деятельности не так возмущало бы меня, если бы не было типичным. Быть литератором в глазах Робины все равно что быть идиотом. С неделю тому назад я подслушал из окна своего кабинета разговор между Робиной и Вероникой на эту тему.

Веронике попалось на глаза что-то, лежавшее на траве. Я из-за лаврового куста не мог видеть, что это было такое. Вероника нагнулась и внимательно рассматривала найденный предмет. В следующий момент она подскочила в воздухе, пронзительно взвизгнув, и принялась кружиться. Лицо ее светилось священной радостью. Робина, проходя мимо, остановилась и спросила, в чем дело.

— Папин волан для тенниса! — с торжеством заявила Вероника.

Она никогда не говорит обыкновенным голосом, когда представляется возможность покричать. Она продолжала хлопать в ладоши и прыгать.

— Из-за чего же ты поднимаешь такой шум? Ведь он не ударил тебя?

— Он всю ночь пролежал на сырости, папа забыл его.

— Нечему тут радоваться, злая девочка, — укорила ее сестра.

— Нет, есть чему. Я было подумала, что это мой волан. Вот пошли бы разговоры, если бы оказался, что мой! Вот поднялся бы крик!

Она продолжала исполнять какой-то ритмический танец, вроде танца греческого хора, выражающего удовольствие на действия богов.

Робина схватила ее за плечи и постаралась привести в себя.

— Если бы это оказался твой волан, тебя за наказание следовало бы на целый день уложить в постель.

— А почему же его не укладывают в постель? — вопросила Вероника.

Робина взяла ее под руку и стала водить взад и вперед как

раз под моим окном. Я слушал, потому что разговор интересовал меня.

— Уж не раз я объясняла тебе, что папа писатель, — читала свое наставление Робина. — Он не может не забывать многого.

— Ну, и я не могу, — настаивала на своем Вероника.

— Тебе это кажется трудно, но если постараешься, то можешь исправиться и стать осмотрительнее. И мне, когда я была маленькой, случалось забывать и делать глупости.

— Хорошо бы нам всем быть писателями, — сказала Вероника.

— Хорошо бы если бы мы все были писателями, — поправила ее Робина. — Когда ты научишься выражаться грамматически? Но, как видишь, этого нет. И ты, и я, и Дик, — все мы заурядные смертные. Мы должны размышлять и стараться быть благоразумными. Точно так же, когда папа выходит из себя — или делает вид, что выходит из себя — в том виноват его литературный темперамент. Это делается помимо его воли.

— Разве многое делается помимо воли, когда человек писатель? — спросила Вероника.

— Да, очень многое, — подтвердила Робина. — Писателей нельзя судить по обыкновенной мерке.

Они повернули к огороду — малина как раз поспела, — и окончание разговора пропало для меня.

Я заметил, что в продолжение нескольких дней после того Вероника часто запиралась в классной с тетрадкой, а с моего стола исчезали все карандаши. Но один из них, самый удобный для меня, я решил по возможности отыскать. Инстинкт привел меня в святилище Вероники. Я увидал, что она сосет мой карандаш, погрузившись в задумчивость. Она объяснила мне, что пишет пьесу.

— Ведь дети заимствуют у отцов? — спросила она.

— Вот ты заимствуешь; только этого не следует делать без спроса. Я не раз говорил тебе, что это единственный карандаш, которым я могу писать, — ответил я.

— Ах, я вовсе не о карандаше, — объяснила свою мысль Вероника. — Я спрашиваю, перейдет ли ко мне твой литературный талант?

Удивительна, если хорошенько раздумать, подобная оценка публикой писателя.

Публика полагает, что человек, пишущий книги и все объясняющий, должен быть очень умным человеком, иначе как бы он мог это делать! Такое рассуждение, конечно, логично. Но если послушать Робину и ей подобных, окажется, что у нас, писателей, не хватает достаточно здравого смысла, чтоб устроить свою

повседневную жизнь. Если бы я предоставил Робине полную свободу действия, она по целым часам читала бы мне лекции.

— Обыкновенная девушка… — приступила бы Робина к своему объяснению тоном лектора университета.

Это способно вывести из себя! Точно я не знаю всего, что полагается знать о девушках? Ведь это моя специальность. Я указывал на это Робине. Она не слушалась и кротко продолжала:

— Да-да, я знаю… Но я говорю о девушке, действительно существующей…

Будь я знаменитым писателем — впрочем, Робина, добрая девочка, считает меня таким, — будь я самим Шекспиром и имей я право сказать: «Но мне кажется, моя милая, что творец Офелии и Юлии, Розамунды и Беатрисы должен знать кое-что о девушках» — и тогда дочь моя ответила бы мне: «Конечно, папа, все знают, как ты талантлив. Но я имею в виду девушек из жизни…»

Я иногда спрашиваю себя: видит ли заурядный читатель в литературе что-либо иное, кроме волшебной сказки? Мы пишем свои произведения кровью своего сердца. Мы вопрошаем свою совесть, следует ли так обнажать тайны своего сердца? Заурядный читатель не понимает, что мы писали своей кровью: она для него чернила. Все тайны нашей души он считает за вымысел, «Жила-была девушка по имени Анжелина, и любила она молодого человека по имени Эдвина». Он, заурядный читатель, воображает, что Анжелина, делясь с ним своими чудными мыслями, только повторяет наши слова. Он не в состоянии понять, что Анжелина более живой человек, чем какая-нибудь мисс Джонс, катающаяся с ним по утрам в автомобиле и так мило, так интересно умеющая рассуждать о повести, где говорится про погоду. Когда я был мальчиком, я пользовался некоторой популярностью среди товарищей как рассказчик. Однажды, возвращаясь домой по Риджент-парк, я рассказал историю о прекрасной принцессе. Но она была не обыкновенная принцесса. Она не держала себя как подобает обыкновенной принцессе. И я тут был ни при чем. Другие слушали мой голос, я же прислушивался к голосу ветра. Ей казалось, что она любит принца — пока он не ранил смертельно дракона, а ее не унес в лес. Здесь, когда принц спал, она услыхала, что страдающий дракон зовет ее. Она тихонько пробралась к тому месту, где дракон истекал кровью, обняла его за шею и поцеловала. И это исцелило его. Я сам надеялся, что после этого он превратится в принца; но этого не случилось: он так и остался драконом — это мне сказал ветер. И несмотря на то, принцесса полюбила его: он оказался вовсе не дурным драконом. Но я не мог рассказать своим слушателям, что случилось с принцем: ветру, очевидно, не было дела до него.

Мне самому сказка понравилась, но Хокер, пятый ученик, руководивший мнением нашей маленькой публики, заявил, что все это враки, так что мне пришлось поспешить окончить сказку.

— Вот и все, — сказал я.

— Нет, не все, — заявил Хокер. — Она все же выйдет замуж за принца. Он должен опять убить дракона, да на этот раз окончательно. Кто слыхал когда-нибудь, чтобы принцесса отказалась от принца из-за дракона.

— Но ведь она не была такая, как все принцессы.

— Ну, так станет такой, — продолжал критиковать Хокер. — Ты, пожалуйста, не зазнавайся. Выдай ее замуж за принца, и баста. Мне надо поспеть на поезд.

— Да она не вышла за него, — продолжал я настаивать на своем. — Она вышла за дракона и жила счастливо.

Хокер принял более серьезные меры. Он схватил меня за руку и скрутил ее у меня за спиной.

— Вышла за кого? — допрашивал он.

— За дракона, — со стоном отвечал я.

— За кого?

— За дракона.

Голос у меня прерывался.

— За кого? — в третий раз повторил Хокер.

Хокер был силен; у меня на глазах выступили слезы. Таким образом, принцесса за свое излечение дракона взяла с него обещание измениться.

Они вместе вернулись к принцу, и дракон обещал служить им обоим. Принц увез принцессу домой и женился на ней, а дракон умер и был похоронен. Другим сказка понравилась больше в таком виде, но я ее возненавидел; ветер только вздохнул и замер.

Мальчуганы превратились в читающую публику, Хокер сделался издателем; он постоянно скручивает мне руки, хотя и другим способом.

Кто не уступает, того только сшибают с ног и спешат на поезд, Но, кнесчастью, большинство из нас рабы Хокеров. Ветру под конец это надоедает; он перестает нам нашептывать сказки, и мы принуждены уж сами придумывать их. Может быть, выходит не хуже. Зачем существуют двери и окна, как не для того, чтобы не допускать к нам ветра?

Опасный малый — этот странствующий ветер; он отнес меня в сторону.

Ведь я говорил о нашем архитекторе.

Уж самое первое его появление уронило его в глазах Робины: он вошел через кухонную дверь. Робина, в большом фартуке, что-то мыла. Он извинился, что так ворвался в кухню, и предложил

выйти обратно и направиться к парадной двери. Робина ответила с строгостью, вызвавшей мое изумление, что архитектору, лучше чем кому-нибудь, должна быть известна разница между передним и задним фасадом дома, но высказала предположение, что молодость и неопытность могут всегда служить извинением глупости. Я не могу постигнуть причину такой досады Робины. Всего несколько дней тому назад она объяснила Веронике, что работа возвышает женщину.

В прежние времена дамы — самые знатные — гордились своим умением исполнять домашние обязанности, а не стыдились того. Теперь я напомнил об этом Робине. Она ответила, что в старинные времена юнцы, называющие себя архитекторами, не врывались в дома через черный ход, не постучавшись, или постучавшись так тихо, что никто не мог слышать.

Робина вытерла руки о полотенце за дверью и провела посетителя в приемную, где холодно доложила о нем, как о «молодом человеке, занимающемся у архитектора». Он объяснил — очень скромно, — что он собственно не один из служащих у господ Спрейтов, но сам также архитектор и младший компаньон фирмы.

Для удостоверения он подал свою визитную карточку, где значилось «Мистер Арчибальд Т. Бьют, архитектор». Собственно говоря, все это бы было излишне. Через дверь я, конечно, слышал каждое слово. Старик Спрейт сообщил мне о намерении прислать ко мне одного из своих наиболее способных помощников, который мог бы вполне посвятить себя моей работе. Я уладил дело, представив молодого человека формально Робине. Они поклонились друг другу довольно холодно. Робина попросила извинения, что вернется к работе, на что Бьют ответил, что «очень приятно», и он ничего не имеет против. Как я старался объяснить Робине, молодой человек конфузился. Он, очевидно, хотел сказать, что очень рад знакомству с нею, а не желанию ее вернуться в кухню. Но Робина, видимо, почувствовала к нему антипатию.

Я предложил ему сигару, и мы направились к нашему дому. Он лежит ровно в миле от коттеджа, за лесом.

Я открыл скоро одну хорошую черту в своем спутнике: он умен, хотя и не всезнайка.

К стыду своему, должен сознаться, что молодой человек, все знающий, приводит меня в смущение. Это очевидное доказательство моей собственной умственной ограниченности. Умственно разносторонний человек ищет общества людей, стоящих выше его. Он желает идти вперед, учиться. Если бы я любил знание, как его следует любить, я бы окружил себя

исключительно молодежью. Бывал у нас один приятель Дика. Одно время я, кажется, возбуждал в нем надежды; я это чувствовал. Но он был слишком нетерпелив. Он желал подвинуть меня слишком быстро.

Надо же принимать во внимание индивидуальные способности. Прослушав его час-другой, я чувствовал, что мысли у меня начинают путаться. Я ничего не мог с собой поделать. До меня доносился беззаботный смех неученых джентльменов и леди с крокетной площадки или из бильярдной, и у меня являлось желание присоединиться к ним. По временам я пытался бороться против своих низменных инстинктов.

Что знают эти господа? Чему они могут научить меня? Но все же чаще всего я не мог устоять против искушения. Случалось даже, что я вставал и внезапно уходил от своего просветителя.

Во время нашей прогулки я рассуждал с Бьютом об архитектуре домов вообще. Он сказал, что может определить в современной архитектуре домов тенденцию к угловатости. Английская публика желает жить по углам. Одна дама, для мужа которой его фирма строила дом в Сэррее, поставила ему задачу в этом роде. Она согласилась, что дом очень мил: ни в одном сэррейском доме нет столько углов, а это значило очень много. Но она не предвидела, как в будущем ей разместить детей. До сих пор она наказывала их при случае, ставя в угол; стыд такого наказания всегда оказывал благотворное влияние на них. Но в новом здании углам отведено первое место. В угол помещают самого почетного гостя.

У отца — угол, принадлежащий исключительно ему, где высоко над его головой помещается замысловатого устройства шкаф, в котором, добравшись туда с помощью приставной лестницы, он может прятать свои трубки и табак, благодаря чему постепенно отучится от курения. У матери есть также свой уголок, где стоит прялка на тот случай, если ей вздумается приняться за тканье простынь и белья. Тут же приделана полка для книг с тринадцатью томами, расположенных в наклонном положении, чтобы все имело естественный вид; последняя книга поддерживается под углом в сорок пять градусов пивной кружкой старинного синего китайского фарфора. Дотрагиваться до книг не полагается, потому что это нарушило бы их расположение.

Да кроме того, разбирая их, нетрудно было бы опрокинуть кружку.

Результатом всего этого является то, что угол теряет свой заброшенный характер. Родитель или родительница уже не могут сказать провинившемуся чаду:

— Скверный мальчишка! Ступай сию минуту в угол.

В доме будущего местом наказания сделается середина комнаты. Рассердившись, мать крикнет:

— Ты не отвечаешь, упрямец! Ступай сию минуту на середину комнаты и стой, пока я позову тебя!

Разместить восемь человек в доме, выстроенном по художественному плану, представляется задачей очень трудной. В художественно отделанной комнате на картинах никого никогда не видно. На столе лежит полоса художественной вышивки рядом с букетом роз в вазе. С высокой спинки старинного кресла свешивается такая же работа, неоконченная, оставленная ею — жилицей этой комнаты. В «кабинете» — открытая книга, корешком кверху, оставлена на стуле. Это была последняя книга, которую читал он, и ее никто не трогал после того.

Остывшая трубка причудливой формы лежит на подоконнике окна с переплетами. Никто не будет больше курить из этой трубки: из нее, должно быть, было трудно курить когда бы то ни было.

Вид такой комнаты, изображенной в мебельном каталоге, всегда вызывает слезы у меня на глазах. Когда-то в этих комнатах жили люди, читали эти книги в кожаных переплетах, курили — или пытались курить — эти неудобные трубки; белые ручки вертели эти неоконченные антимакассары или начатые туфли, и затем исчезли, а вещи остались, где лежали.

Получается впечатление, что люди, жившие в этих художественно убранных комнатах, все умерли. Вот здесь была их «столовая». Они сидели на этих красивых стульях; только этим сервизом на буфете в елизаветинском стиле они вряд ли пользовались, потому что в таком случае пришлось бы лишить буфет его убранства: вероятно, у них была запасная посуда или они обедали в кухне.

«Вестибюль» — комната незапятнанной чистоты. В каком-нибудь половичке здесь не могло быть нужды, надо предположить, что посетитель с грязными сапогами должен был обходить кругом.

За дверью висит дорожный плащ, именно такой, какой можно ожидать встретить здесь, — декоративный плащ.

Зонтик или ватерпруф испортили бы весь эффект.

Изредка иллюстратор художественной комнаты допускает присутствие в ней молодой девушки.

Но и девушка эта тщательно подобрана под общий стиль. Начиная с того, что она одета так, будто родилась триста лет тому назад. На ней такое платье и причесана она так же.

Она должна иметь грустный вид: веселая девушка нарушила бы художественное впечатление комнаты. Можно представить

себе разговор художника с гордым обладателем дома:

— Нет ли у вас несчастной дочери? Прелестной девушки, но разочарованной в своей любви… непонятой. Вы могли бы одеть ее по образцам местного музея и снять среди обстановки. Такая фигурка придает рисунку правдоподобность.

Дотрагиваться до чего-либо она не должна…. Все, что ей дозволяется делать, это читать книгу, то есть не читать в действительности — это внесло бы слишком много жизни и движения. Пусть она сидит с книгой на коленях и смотрит в огонь, если это в столовой, или в окно, если она в будуаре, и архитектор желает привлечь внимание на местечко в нише окна.

Мужчины не допускаются — насколько я мог заметить — ни в одну из этих комнат. Однажды мне показалось, что я вижу мужчину, проникшего в собственную «курилку»; но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это только портрет.

Иногда дают «перспективу». Двери открыты, и вы смотрите прямо через «уголок» в сад. Нигде ни одной живой души. Вся семья отослана на прогулку или заперта в подвальном этаже. Это кажется вам странным, пока вы не поразмыслите хорошенько. Современные мужчина и женщина нехудожественны. И я нехудожествен, то есть в том смысле, как я это понимаю. Я не подходящая фигура для гобеленов и грелок. Я чувствую это.

И Робина нехудожественна в том же смысле. Я однажды попробовал посадить ее на стул римского образца за клавикорды, купленные по дешевой цене. Оказалось что-то совершенно несообразное. Пианино с фотографиями и папоротником на нем — вот какой обстановки требует Робина.

Дик нехудожествен. К Дику не подходят павлиньи перья и гитара. Я вообще не могу себе представить, как может семья жить в подобных домах пятнадцатого столетия, если она не готовится в трубадуры и рыцари. Современная семья — отец в широких панталонах и смокинге, который не мог бы застегнуть, если бы пожелал; мать — сколок с королевы Виктории; мальчики в фланелевых костюмах и воротничках до ушей, дочери в автомобильных капорах… Такой семье так же не место в средневековом жилище, как партии куковских экскурсантов на улицах Помпеи, где они распивают пиво.

Рисовальщик художественных комнат хорошо делает, придерживаясь «nature morte». В художественном доме все, перефразируя Уатса, красиво, один только человек нехудожествен. На картине художественная спальня с зеленой мебелью, кроватью из вишневого дерева и драпировкой, чуть-чуть тронутой красным, очаровательна.

А положите кого-либо на постель из вишневого дерева, как

бы художествен он ни был, и очарование исчезнет. У художественного владельца спальни должна быть комнатка позади, где он спит и одевается. Он только заглядывает в дверь своей артистической спальни или, может быть, иногда заходит, чтобы переменить розы.

Представьте себе виды художественной детской пять минут после того, как в нее впустили ребенка. Я знаю даму, истратившую сотни фунтов на устройство «художественной» детской. Она с гордостью показывала ее знакомым.

Детей пускали туда в воскресенье после обеда. Я сам сделал недавно подобную глупость. Прельщенный каталогом мебельного магазина, я вздумал подарить Робине в день ее рождения будуар. Мы оба потом пожалели об этом. Робина говорила, что она могла бы получить велосипед, брильянтовую браслетку и мандолину, и я притом все бы еще сэкономил некоторую сумму. А я выполнил свое намерение добросовестно. Я сказал мебельщику, что все должно быть как на картинке: «Рисунок спальни-будуара для молодой девушки, меблировка тикового дерева, занавесы серовато-голубые». Тут было все: приспособление для зажигания огня, обращаться с которым, может быть, умела древняя весталка; подсвечники — сами по себе картинки, пока мы не пробовали вставить в них свечи. Библиотека-бюро была настолько мала, что на ней невозможно было писать; а достать книгу было возможно, только оставив мысль о писании и закрыв крышку. С умывальника, имевшего вид старинного бюро с неизменной вазой цветов на нем, надо было перед употреблением снимать и крышку и вазу. Туалет был снабжен зеркалом таких размеров, что в нем можно было рассмотреть только собственный нос. Кровать помещалась за ширмочкой, за которую нельзя было пролезть, чтобы оправить постель. Более изящной комнаты трудно было себе представить, пока Робина не переночевала в ней. Она сделала эту попытку. Подруги, которым она похвасталась своей комнатой, просили показать им ее, Робина ответила: «Подождите минуту» и побежала, захлопнув дверь. Вслед за тем до нас целые полчаса доносился звук закрываемых шкафов и передвигаемых вещей. И все время она сердилась и раздражалась. Теперь она желала бы передать свой будуар Веронике, но Вероника протестует против его положения между ванной и кабинетом. Ей хочется иметь комнату более отдаленную, где ей можно бы запираться и работать, как она выражается — не боясь быть прерванной.

Бьют сообщил мне, что один из его состоятельных знакомых вздумал отделать свою квартиру в стиле римской виллы. Конечно, каминов не было; комнаты согревались горячим паром

из кухни. В ноябрьские вечера они имели безотрадный вид, и никто не знал где сесть. Свет по вечерам давали греческие лампы, ясно объяснявшие, почему древние римляне рано ложились спать. Обедали, вытянувшись на ложе. Это было возможно, взяв тарелку в руки и кушая пальцами; но при применении вилки и ножа получались все удобства пикника с горячими кушаньями. Вы не наслаждались роскошью стола и даже не сердились: вам только досадно было за ваше платье. Хозяин не мог претендовать, чтоб его знакомые являлись кнему в римских тогах, и даже его собственный слуга не согласился облечься в одежду римского раба. Такое несоответствие очень портило общее впечатление. Не можете вы превратиться в римского патриция времен Антония, когда живете в Пиккадилли в начале двадцатого столетия. Единственное, чего вы достигнете, — это лишить ваших знакомых всяких удобств и испортить им обед.

Бьют добавил, что лично для себя он предпочитает провести вечер со своими маленькими племянниками, играя в лошадки. По его мнению, это куда забавнее.

Он сказал, что, конечно, как архитектор, он восхищается художественными памятниками старины. Но для греческого храма необходимы гречанки и греческое небо. Даже Вестминстерское аббатство во время сезона — для него бельмо на глазу. Декан и хор в белых стихарях еще куда ни шло, но прихожане в черных смокингах и парижских шляпах производят на него такое же впечатление, как если бы на банкет в зале Каннонстритского отеля собрались босоногие францисканцы.

Я не мог не согласиться, что в его замечаниях был смысл, и решил не упоминать о своем намерении вырезать над входом число 1553.

Бьют сказал, что не понимает мании теперешних домостроителей играть в крестоносцы или кентерберийские богомольцы. Один его знакомый берлинский сапожник, ликвидировавший свои дела, построил себе близ Гейдельберга небольшой замок в романском вкусе. Играли на бильярде в башенке на крыше и пускали в день рождения кайзера фейерверк с платформы дозорной башни.

Другой его знакомый, суконный торговец, выстроил себе ферму, окруженную рвом. Ров наполнялся из водопровода особым приспособлением, и электрические лампочки имели вид свечей. Он все воспроизвел до мельчайших подробностей, даже устроил голубую комнату с привидениями и миниатюрную часовенку, которую употреблял вместо телефонного шкафа.

Бьют был приглашен туда охотиться осенью. Он имел при этом сильное поползновение запастись луком и стрелами.

Между тем в моем молодом собеседнике произошла перемена. Пока мы говорили о других вещах, он был застенчив и молчалив. Как только речь зашла о кирпичах и цементе, он все объяснял с замечательным знанием дела.

Я попытался замолвить несколько слов в пользу дома эпохи Тюдоров. Он сказал, что дом эпохи Тюдоров годен для жилья людей той эпохи — для рыцаря, жена которого ездит сидя за ним на вьючном седле и который ведет свою переписку с помощью разбойников. Камины тюдоровской эпохи предназначались для времени, когда каменный уголь был неизвестен и трубы могли дымить сколько угодно. Он утверждал, что такой дом будет смешон с автомобилем, стоящим перед подъездом, и электрическими звонками, каждую минуту напоминающими о комфорте.

— Выстроить вам, писателю двадцатого века, дом в стиле Тюдоров было бы совершенно несообразно, — возразил мой собеседник.

Он был отчасти прав. И когда Бьюту дом, до которого мы тем временем дошли, понравился, я решил не упоминать о своих планах изменить каминные трубы и сделать остроконечные крыши.

— Дом хороший, — решил мой архитектор. — В нем владелец в смокинге и модных панталонах может сидеть, не чувствуя себя пришельцем из другой эпохи. Он выстроен для человека в современном костюме, и разве только допускает изредка охотничий наряд и гетры. Вы можете наслаждаться здесь игрой на бильярде, не испытывая чувства, которое испытываете, играя в теннис под сенью пирамид!

Мы вошли в дом, и я изложил архитектору свои соображения, т. е. те, которые, как я чувствовал, он одобрит. Это взяло у нас довольно времени, и когда мы взглянули на часы, оказалось, что последний поезд, с которым Бьют мог уехать, ушел.

У нас еще оставалось многое обсудить, и я предложил архитектору вернуться со мной в коттедж и переночевать у нас. Я уступлю ему свою комнату, а сам помещусь у Дика.

Я рассказал ему о корове, но он заявил, что он спит очень крепко, и просил только одолжить ему ночную сорочку. Впрочем, он справился еще, не коснется ли перемещение мисс Робины. Я уверил, что для Робины его посещение будет очень полезно: нежданый гость ей дает полезный урок в хозяйстве. А если б мы даже при этом ее потревожили, так и то невелика беда.

— Конечно, для вас невелика, — ответил он, улыбаясь, — на вас она не будет негодовать.

— Все устроим, мой милый, и всю ответственность беру на

себя, — успокоил я его.

— А мне достанется, — решил он.

Я еще раз повторил, что не важно, кого стала бы винить Робина.

После этого мы заговорили о женщинах. Я высказал свое сложившееся убеждение, что лучший способ обращения с женщинами — смотреть на них как на детей.

Он ответил, что это, может быть, и хороший метод, но что же делать, если они обращаются с вами как с ребенком…

Архитектор снова исчез, и Бьют на обратном пути к коттеджу превратился опять в застенчивого молодого человека. Когда я взялся за ручку двери, он спросил:

— Не кухонная ли это дверь, сэр?

Это была действительно кухонная дверь, я не заметил того.

— Все равно… — начал было я.

Но мой спутник исчез. Я последовал за ним, и мы вошли в парадную дверь. Робина стояла у стола и чистила картофель.

— Я привел мистера Бьюта обратно с собой, — объяснил я. — Он будет ночевать у нас.

Робина сказала:

— Если мне когда-нибудь придется жить в коттедже, у него будет один вход. — Она взяла картофель и ушла наверх.

— Надеюсь, мы не займем ее комнату? — спросил Бьют.

— Не беспокойтесь, мы не потревожим ее; а если б и так, то она должна привыкать. Уступать свое место — один из уроков жизни.

Я повел его наверх, намереваясь показать ему комнату, где он будет спать.

Двери спален приходились одна против другой. Я ошибся я отворил не ту дверь. Робина сидела на постели и чистила картофель.

Я объяснил, что мы ошиблись.

Робина ответила, что это не важно и, взяв картофель, снова спустилась вниз. Взглянув в окно, я видел, как она направилась в лес. Картофель она уносила с собой.

— И зачем это мы отворили не ту дверь, — с глубоким вздохом произнес Бьют.

— Как вы сами себя мучаете, молодой человек! — сказал я ему. — Взгляните на вещи с юмористической точки зрения. Ведь, право, выходит смешно, когда поразмыслишь. Куда бы ни направилась бедная девочка, надеясь спокойно дочистить свой картофель, мы нападаем на нее. Теперь нам следовало бы отправиться в лес. Лесок хорошенький. Мы бы могли объявить, что пришли за цветами.

Но мне не удалось убедить Бьюта. Он сказал, что ему надо написать несколько писем, и, если я ничего не имею против, он останется наверху, пока не будет готов обед.

Дик и Вероника вернулись несколько позднее. Дик побывал у мистера Сен-Леонара и переговорил об уроках сельского хозяйства. Он говорил, что старик, вероятно, мне понравится, и что он вовсе не похож на фермера.

Вероника тоже вернулась в хорошем расположении духа: она встретилась там с осликом, и он покорил ее сердце. Дик поверил мне, что, не взявши на себя никаких обязательств, он намекнул Веронике, что, если она будет долгое время «умницей», может быть, я и соглашусь купить ей ослика. Это сильное животное и может быть нам полезно. Во всяком случае, у Вероники окажется цель жизни, что-нибудь, к чему она станет стремиться — а это именно ей и надо. По временам Дик бывает предусмотрителен.

Обед оказался удачнее, чем я ожидал. Робина подала к закуске дыню, а затем сардины, дичь с картофелем и пюре из зелени. Ее кулинарное умение удивило меня.

Я предупреждал Бьюта, что на этот обед следует скорее смотреть как на шутку, чем на вечернюю еду, и сам готовился скорее почерпнуть из него забаву, чем утоление голода. Меня постигло приятное разочарование.

Мы закончили обед холодным пирожным и прекрасным кофе, сваренным Робиной на спиртовке, пока Дик и Вероника убирали со стола.

Это был один из самых приятных обедов, в каких мне приходилось принимать участие, и по вычислениям Робины стоил всего шесть шиллингов четыре пенса на всех пятерых. Так как не было слуг, то мы говорили не стесняясь и весело. Это заставило меня вспомнить один происшедший со мной случай. Однажды за обедом я начал было рассказывать историю об одном шотландце, как хозяин взглядом дал мне понять, чтобы я замолчал. Позднее он за десертом объяснил мне, что его столовая горничная была шотландка и притом очень обидчивая. Затем разговор перешел на гомруль, и снова хозяин попросил меня замолчать. По-видимому, буфетчик был ирландец и завзятый приверженец Парнелля. Многие могут разговаривать, как будто прислуга — какие-то машины, но для меня слуги такие же люди, как все другие, и их присутствие стесняет меня. Например, я знаю, что мои гости не слыхали какого-нибудь анекдота, а от собственной плоти и крови можно ждать некоторого самопожертвования. Но мне жаль прислуживающей горничной, которая слышала анекдот уже десять раз. И я не могу заставить ее выслушать свой рассказ в одиннадцатый раз.

После обеда мы отставили стол в угол, и Дик извлек что-то вроде вальса из мандолины Робины. Яуже много лет не танцевал; но Вероника объявила, что готова бы танцевать каждый день со мной, вместо тех «мальчишек», которым учительница танцев поручает вертеть своих учениц. Может быть, я и действительно опять стану отплясывать. В конце концов, мужчине столько лет, сколько он сам чувствует.

Бьют оказался прекрасным танцором и мог даже делать повороты, для чего требуется немалое искусство в комнате, имеющей четырнадцать футов в квадрате. Когда он ушел, Робина доверила мне, что во время танцев он еще сносен. Я положительно не понимаю, что может Робина иметь против него. Он не красив, но и не дурен, а улыбка у него очень приятная. Робина говорит, что именно этой улыбки она не выносит. Дик согласен со мной, что Бьют не глуп, а Вероника, не любительница хвалить по-пустому, говорит, что она не видала никого, кто бы так хорошо представлял живого или мертвого краснокожего.

Мы закончили вечер пением.

Обширность репертуара Дика удивила меня; очевидно, он не так лентяйничал в Кэмбридже, как казалось. У Бьюта очень порядочный баритон. Только в четверть двенадцатого мы вспомнили, что Веронике следовало бы быть в постели в девять часов, и все удивились, что стало уже так поздно.

— Зачем нам нельзя всегда жить в деревне и делать что вздумается! — проговорила Вероника, целуя меня на прощание. — Это куда забавнее!

— Затем, что мы идиоты, Вероника, по крайней мере, большинство из нас, — ответил я ей.

V

На следующее утро я отправился к Сен-Леонару. Недалеко от дома мне повстречался юноша Опкинс верхом.

Он размахивал над головой вилами и декламировал «Выступление легкой кавалерии», что, по-видимому, доставляло удовольствие его лошади. Он сказал мне, что я найду «хозяина» у хлевов. Сен-Леонар вовсе не «старик». Дик, вероятно, видел его при плохом освещении. Мне он показался скорее мужчиной в расцвете лет, разве только на самую малость старше меня. Но Дик был прав, говоря, что он не похож на фермера, — начиная с того, что имя его, Губерт Сен-Леонар, вовсе не фермерское.

Можно представить себе человека с таким именем автором книги о сельском хозяйстве, теоретически знакомым с предметом, но вообще фермерского в нем нет ничего. Нельзя определить, что именно, но только в каждом фермере что-то указывает вам на сельского хозяина.

Например, как он облокачивается о калитку. Существует столько различных способов облокачиваться о калитку. Я перепробовал их все и никогда не мог найти настоящего. Это, должно быть, уж в крови. У фермера особенная манера стоять на одной ноге и смотреть на вещь, которой нет.

Кажется просто, а вот в том-то и есть загадка.

Губерт Сен-Леонар показался мне в очень возбужденном состоянии. Он никак не может привыкнуть к спокойному отчаянию — уделу сельского хозяина.

Он высок и худ, с впечатлительным, подвижным лицом и имеет курьезный жест: он схватывает по временам голову руками, как бы для того, чтобы убедиться, действительно ли она на месте. Когда я подошел к нему, он собирался в обход своего хозяйства, и я вызвался сопутствовать ему. Он рассказал мне, что не всегда был сельским хозяином: еще недавно он был маклером. Но он всегда ненавидел свое ремесло и, сделав кое-какие сбережения, решил, как только ему исполнится сорок лет, позволить себе редкую роскошь, — жить самостоятельною жизнью. Я спросил его, окупаются ли его труды. Он ответил:

— Как во всем, это зависит от того, к чему вы стремитесь. Ну как посторонний наблюдатель скажите: какое жалованье мне стоило бы дать в год?

Вопрос был затруднительный.

— Вы боитесь, что, ответив откровенно, вы обидите меня, — высказал он свое предположение. — Ну, хорошо. Чтобы объяснить вам мою теорию, предлагаю взять примером вас. Я читал все

ваши книги, и они мне нравятся. В качестве почитателя я бы сказал, что вы можете заработать фунтов пятьсот в год. Вы, может быть, зарабатываете две тысячи и считаете, что вам следовало бы получать пять.

Загадочная улыбка, сопровождавшая эти слова, обезоружила меня.

— Большинство из нас стремится к слишком высоким заработкам. Джон Смит, которому красная цена сто фунтов, ценит себя, по крайней мере, в двести. Результат: трудность добавочного заработка, переутомление, вечная неудовлетворенность, вечный страх, что другой тебя обгонит. Возвращаюсь к вашей работе: мне кажется, вы были бы счастливее, зарабатывая пятьсот фунтов, чем можете быть, добившись двух тысяч. Чтобы получить такой доход, то есть довести его до двух тысяч, вам приходится работать над вещами, не приносящими вам удовольствия при создании их. Довольствуясь пятьюстами, вы бы могли делать только то, что вам нравится. Мы должны помнить, что свет, на котором мы живем, не совершенство. В совершенном мире мыслителю была бы цена выше, чем романисту. В нем фермер ценился бы дороже маклера. Переменив свое положение, я должен был спуститься. Но, зарабатывая менее денег, я получаю от жизни больше удовлетворения. Я имел возможность пить постоянно только шампанское, но у меня болела печень, и я не мог пить его. Теперь я не в состоянии покупать шампанского, но с удовольствием пью пиво.

Моя теория такова: все мы имеем право на вознаграждение по нашей рыночной ценности — ни больше ни меньше. Вы можете все это получать чистоганом. И я получал так же в прежнее время. Или вы можете получать меньше денег, но иметь больше удовольствия, и это теперь происходит со мной.

— Приятно повстречаться с философом, — заметил я. — Конечно, слышишь о них, но я, лично, полагал, что они уже все вывелись.

— Люди смеются над философией, — сказал он, — но я никогда не мог понять почему. Философия — наука, научающая нас, как вести свободное, мирное, счастливое существование. Я готов бы отдать половину оставшейся мне жизни за то, чтобы стать философом.

— Я не смеюсь над философией, — возразил я, — и чистосердечно полагал, что вы философ. Я вывел это заключение из ваших рассуждений.

— Из рассуждений? Всякий может рассуждать. Вы говорите, я рассуждаю, как философ.

— Не только рассуждаете, но и поступаете, — настаивал я. — Вы жертвуете доходом ради того, чтобы жить, как вам приятно. Разве это не философия?

Я желал поддержать его в хорошем расположении духа. Мне предстояло переговорить с ним о трех вещах: о корове, осле и Дике.

— Нет, — возразил он мне. — Философ остался бы маклером и был бы не менее счастлив. Философия не зависит от окружающей обстановки. Философ может жить где угодно. Ему все равно, раз его философия остается при нем. Можешь сразу сообщить ему, что он сделается императором или отправится на вечную каторжную работу. Он продолжает быть философом, как будто ничего не случилось. У нас есть старый кот. Дети ужасно отравляют ему существование: запирают его в рояль, предполагая, что он наделает там шум и кого-нибудь испугает; а он вместо того, чтобы кричать, преспокойно укладывается спать. Когда час спустя кто-нибудь откроет рояль, бедняга лежит, вытянувшись на струнах, и мурлычет про себя. Его одевают в платье ребенка, укладывают в детскую колясочку и везут гулять; он лежит смирнехонько, оглядываясь по сторонам, и пользуется свежим воздухом. Его таскают за хвост. Видя, как он раскачивается, вися головой вниз, можно подумать, что он благодарит за новое получаемое впечатление. Он, очевидно, смотрит на все происходящее с надеждой, что этот опыт поведет к чему-нибудь хорошему. Прошлой зимой он лишился ноги, попав в капкан; теперь он весело попрыгивает себе на трех ногах. Как будто даже доволен, что обходится с тремя — одной меньше мыть. Вот этот кот истинный философ; что бы с ним ни случилось, он всегда доволен и невозмутим.

Я начинал раздражаться. Я знаю человека, с которым невозможно было вступить в спор. Несколько членов клуба — новички — предложили пари, что они сумеют стать на противоположные точки зрения с ним, о каком бы предмете под солнцем ни заговорили. Они назвали Ллойд Джорджа изменником отечеству. Этот человек встал и потряс им руки, находя слова слишком слабыми для выражения восхищения выказанным ими бесстрашием. Затем они начали поносить Бальфура, доходя до диффамации. Он чуть не бросился им на шею, как будто мечтой его жизни было услышать поношение Бальфуру. Я сам говорил с ним подолгу и вынес впечатление, что он человек, ищущий мира во что бы то ни стало. Очень бывало забавно, когда около него случалось собраться человекам шести. В это время он напоминал комнатную собачку, которую шесть человек зовут с разных концов дома. Ей хочется бежать ко всем за

раз.

Вот и теперь я понял своего собеседника и перестал раздражаться. Я сказал ему:

— Нам предстоит быть соседями, и мне кажется, мы сойдемся. То есть если мне удастся ближе узнать вас. Вы начали с восхищения философией: я спешу согласиться с вами. Это благородная наука. Когда моя младшая дочь вырастет, старшая станет благоразумнее, Дика сбуду с рук, а английская публика научится ценить хорошую литературу, я надеюсь сделаться сам в некотором роде философом. Но прежде чем я успел изложить вам свои мнения, вы изменили свой взгляд и сравнили философа со старым котом, у которого, по-видимому, мозги слабоваты. Говоря кратко, собственно, кто вы?

— Дурак, — быстро ответил он, — несчастный сумасшедший. У меня ум философа в соединении с чрезвычайно раздражительным темпераментом. Философия говорит мне, что я должен стыдиться своей раздражительности, а раздражительность заставляет видеть в философии чистую нелепость в применении ко мне. Философ во мне говорит, что не велика беда, если близнецы упадут в прудок. Прудок неглубок, не в первый и не в последний раз они попадают в него. Такие вещи вызывают у философа только улыбку. Человек, сидящий во мне, называет философа идиотом за то, что он относится небрежно к тому, к чему нельзя относиться свысока. И вот отрываешь людей от работы, чтобы выловить упавших. Мы все промокаем насквозь. Я промокаю и волнуюсь, а это всегда отзывается на моей печени. Платье детей испорчено в конец. Черт их побери, — кровь бросилась ему в голову, — непременно отправляются к прудку в лучшем платье! Что-то есть несуразное в близнецах. Почему? Почему близнецам быть хуже других детей? Все мы знаем, что каждый ребенок не ангел. Вот взгляните на мои сапоги; они мне служат больше двух лет. Я в них делаю по десяти миль в день; сотни раз им приходилось промокать насквозь. Вы покупаете мальчику сапоги…

— Почему вы не огородите прудок? — спросил я.

— Вот вы опять спрашиваете. Философ во мне — разумный человек — спрашивает: «Какая польза от прудка? В нем только грязь да тина. Вечно кто-нибудь в него свалится: не дети, так свинья. Почему его совсем не уничтожить?»

— Конечно, было бы самое благоразумное, — высказал я свое мнение.

— Верно, — согласился он, — Нет человека, одаренного здравым смыслом в большей степени, чем я; но если б я только мог слушаться самого себя. Знаете, почему я не закидываю этот

прудок? Потому что жена посоветовала это сделать. Такова была ее первая мысль, когда она увидала его. И она повторяет это каждый раз, когда кто-нибудь свалится туда. «Если бы ты послушался моего совета»… ну и так далее в том же роде. Никто так не раздражает меня, как человек, повторяющий мне: «Ведь я говорил тебе». Фонтан посредине прудка — это живописная развалина, и на нем даже являлись привидения. Все это, конечно, прекратилось с нашим приездом. Какая уважающая себя нимфа может появляться на прудке, куда вечно плюхаются дети или свиньи?

Он засмеялся; но прежде чем я успел присоединиться к нему, он уже опять рассердился.

— Зачем мне заваливать исторический прудок, служащий украшением саду, из-за того, что пара дураков не может держать калитку взаперти? Детей следует отстегать хорошенько, и как-нибудь…

Его прервал голос, приглашавший нас остановиться.

— Не могу, — крикнул он. — Я делаю обход.

— Нет, остановись, — продолжал голос.

Сен-Леонар обернулся так быстро, что чуть не сшиб меня с ног.

— Черт побери их всех! — проворчал он. — Почему ты не взглянула на расписание? Никто здесь не признает порядка. Вот именно беспорядочность и губит хозяйство.

Он шел дальше, ворча. Я следовал за ним. На середине поля мы встретили особу, которой принадлежал голос. Это была миловидная девушка, нельзя сказать, чтобы хорошенькая — не из тех, на которых заглядываешься в толпе — но, раз увидав ее, было приятно продолжать смотреть на нее. Сен-Леонар представил мне ее как свою старшую дочь, Дженни, и объяснил ей, что, если бы она только потрудилась, они могла бы найти дневное расписание в кабинете за дверью…

— И именно по этому расписанию ты должен был находиться в сарае, — ответила мисс Дженни, улыбаясь. — Там-то ты мне и нужен.

— А который час? — спросил он, ощупывая в жилетном кармане часы, которых там, по-видимому, не оказалось.

— Без четверти одиннадцать, — сказал я.

Он схватился руками за голову.

— Да не может быть!

Мисс Дженни сообщила нам, что привезли новую сноповязалку, и было бы желательно, чтобы отец взглянул, как машина работает, прежде чем возчики уйдут.

— Иначе, — добавила она, — старый Уилкинс будет уверять,

что все было в исправности, когда он доставил ее, и мы с ним ничего не поделаем.

Мы вернулись к дому.

— Говоря о деле, — начал я, — я пришел поговорить с вами о трех вещах. Прежде всего о корове.

— Ах да, о корове, — повторил Сен-Леонар и обратился к дочери: — Ведь это Мод?

— Нет, — ответила она, — Сюзи.

— Это та, что ревет всю ночь и три четверти дня. Ваш мальчик Гопкинс думает, что она тоскует.

— Бедняжка, — сказал Сен-Леонар. — У нее взяли теленка… Когда у нее взяли теленка? — обратился он к Дженни.

— В среду утром, — ответила та. — В тот самый день, как ее отправили.

— Им это бывает так тяжело сначала, — сочувственно проговорил Леонар.

— С моей стороны может показаться черствостью, — начал я, — но я хотел спросить, не найдется ли у вас другой, не такой чувствительной. Я предполагаю, что и между коровами найдутся так же, как между людьми, такие, которые даже рады бывают избавиться от теленка.

Мисс Дженни улыбнулась. Когда она улыбалась, являлось сознание, что готов отдать многое, чтоб снова вызвать эту улыбку.

— Но почему же вы не поместите ее на скотном дворе при вашем доме? — спросила мисс Дженни. — За молоком можно бы посылать туда. Там есть прекрасный хлев, и до вас не дальше мили.

Ведь это в самом деле идея! Она мне не приходила в голову. Я спросил Сен-Леонара, сколько должен ему за корову. Он предложил тот же вопрос мисс Дженни, и та ответила, что цена корове шестнадцать фунтов.

Меня предупреждали, что, имея дело с фермерами, всегда следует поторговаться, но в тоне мисс Дженни ясно слышалось, что раз она сказала шестнадцать фунтов, так и будет шестнадцать фунтов. Я начинал видеть карьеру Губерта Сен-Леонара в лучшем свете.

— Отлично, — сказал я, — будем считать вопрос о корове решенным.

Я занес в книжку заметку:

«Корова — шестнадцать фунтов. Надо приготовить коровник и купить большой кувшин на колесах».

— А вам не потребуется молока? — спросил я мимоходом у мисс Дженни. — Сюзи, по-видимому, будет давать галлонов по пяти в день. Боюсь, что если мы станем выпивать его одни, то

чересчур разжиреем.

— По два пенса полпенни за кварту с доставкой на дом можно брать сколько угодно, — ответила мисс Дженни.

Я записал и это в книжку.

— Не знаете ли какого-нибудь порядочного мальчика-работника? — спросил я затем у мисс Дженни.

— А что вы скажете о Гопкинсе? — предложил отец.

— Как же можно отпустить единственного мужчину на ферме, кроме тебя, отец? Гопкинса нельзя отдать.

— Единственный недостаток Гопкинса, по-моему, — это его болтливость, — продолжал Сен-Леонар.

— Что меня касается, я предпочел бы деревенского мальчика, — сказал я. — Присутствие Гопкинса нарушает иллюзию, что находишься в деревне. Можно вообразить себя разве в городе-саду. Мне хотелось бы иметь нечто более простое — чисто деревенское.

— Кажется, я могу указать вам такого малого, — с улыбкой сказала мисс Дженни. — У вас вообще добрый характер?

— В большинстве случаев, я могу ограничиться сарказмом, — ответил я. — Это мне нравится и, насколько я мог заметить, не приносит ни вреда, ни пользы кому бы то ни было.

— Я пришлю вам мальчика, — сказала мисс Дженни. Я поблагодарил ее и затем заявил:

— Теперь мы дошли до осла.

— Натаниеля, — объяснила мисс Дженни в ответ на вопросительный взгляд отца. — Он нам лишний.

— Дженни, — авторитетным тоном заговорил Сен-Ленар. — Я требую честности…

— Я и хочу быть честной, — ответила мисс Дженни обиженно.

— Дочь моя, Вероника, — начал я, — дала мне понять, что, если я куплю ей этого осла, это будет для нее началом новой и лучшей жизни. Я вообще мало доверяю разным условиям, но кто знает. Обстоятельства, под влиянием которых происходят изменения в человеческом характере, неуловимы и неожиданны. Но, как-никак, не следует пренебрегать случаем. А кроме того, мне пришло в голову, что осел может быть полезен в саду.

— Он жил на моем иждивении больше двух лет, и я не вижу, чтоб он внес какое-либо нравственное улучшение в мою семью, — заявил Сен-Леонар. — Какое влияние он может иметь на ваших детей, я, конечно, не знаю. Но если вы ожидаете от него пользы в саду…

— Он возит тележку, — прервала мисс Дженни.

— Пока около него идет кто-нибудь и кормит морковью. Мы

пробовали привязывать морковь на шест так, чтобы он не мог достать ее. Выходит прекрасно на картинке, а нашего осла заставляет брыкаться. Ты очень хорошо знаешь это, — продолжал он, с возрастающим негодованием обращаясь к дочери. — В последний раз, как мать ездила с ним, она истратила всю свою морковь по пути туда, а назад пришлось и его и тележку тащить на буксире за тачкой.

Мы дошли до двора. Натаниель стоял, наполовину высунувшись из двери своего стойла. Мне бросилось в глаза какое-то сходство между ослом и самой Вероникой; на его морде как будто выражалась покорность судьбе, непонятой, страдающей добродетели; в глазах читалось то же задумчивое, печальное выражение, с которым Вероника стоит у окна, смотря на алый закат, между тем как ее зовут откуда-то издали, чтоб она убрала свои вещи.

Мисс Дженни, нагнувшись к ослу, попросила его поцеловать себя. Он исполнил просьбу, но с нежным укоризненным взглядом, как бы говорившим: «Зачем призывать меня обратно на землю».

Этим он окончательно покорил мое сердце. Напрасно я сначала нашел мисс Дженни некрасивой. Она обладает тем типом красоты, который ускользает от внимания благодаря собственному совершенству. Только эксцентричное, негармоничное привлекает на себя в толпе блуждающий взор. К гармонии надо привыкнуть.

— Мне кажется, этого осла можно бы научить всему, — сказала мисс Дженни, отирая глаза.

Очевидно, она считала согласие поцеловать себя признаком особенной сообразительности.

— Можно научить всему, только не работать, — дополнил отец. — Вот что я вам скажу: если вы возьмете этого осла от меня и обещаете не возвращать мне его, я отдам его вам.

— Даром? — с грустным предчувствием спросила мисс Дженни.

— Даром, — подтвердил отец. — И если я могу иметь голос, то прибавлю также тележку.

Мисс Дженни вздохнула и пожала плечами. Было решено, что Гопкинс на другой день передаст Натаниеля в мое владение. По-видимому, Гопкинс был единственным человеком на ферме, обладавшим секретом заставить осла идти.

— Не знаю как, но он умеет справляться с ним, — сказал Сер-Леонар.

— Ну, теперь остается только Дик… — начал я.

— Молодой человек, которого я видел вчера? — спросил Сен-Леонар. — Красивый молодой человек.

— Он славный малый, — сказал я. — Я, кажется, не знаю мальчика добрее; и не глуп, когда научишься понимать его. В нем есть один только недостаток: я не могу его заставить работать.

Мисс Дженни улыбнулась. Я спросил ее, почему.

— Я только думаю о большом сходстве между ним и Натаниелем.

Правда, сходство существовало. Только я не подумал о нем.

— Ошибка в таких случаях с нашей стороны, — сказал Сен-Леонар. — Мы предполагаем, что в каждом мальчике живет дух профессора, и каждая девушка — природный музыкальный талант. Мы заставляем сыновей рыться в греческих и латинских классиках, а девочек засаживаем за рояль. В девяти случаях из десяти получается только потеря времени. Меня отправили в Кэмбридж и там называли лентяем. Между тем я вовсе не был ленив. Только у меня не было никакой охоты к сухой книжной премудрости. Мне хотелось быть сельским хозяином. Если бы способных молодых людей обучали сельскому хозяйству как науке, это приносило бы доход. Во имя здравого смысла…

— Я склонен согласиться с вами, — прервал я его. — Я больше желал бы, чтоб из Дика вышел хороший фермер, чем третьестепенный адвокат. Сельское хозяйство, по-видимому, интересует его. У него еще десять недель впереди до возвращения в Кэмбридж: время, достаточное для опыта. Не примете ли вы его учеником?

Сен-Леонар схватился руками за голову и крепко держал ее.

— Если я соглашусь, я должен поступить честно, — сказал он.

Снова я увидал в глазах мисс Дженни то же выражение разочарования.

— Мне кажется, пришла моя очередь быть честным, — сказал я. — Я получил осла даром; но за Дика я хочу платить. Вас ждут в сарае. Мы уговоримся с мисс Дженни.

Он взглянул на нас обоих подозрительно.

— Обещаю быть честной, — со смехом заявила мисс Дженни.

— Если вы назначите цену, превышающую мое умение, я отошлю его обратно, — заявил Сен-Леонар. — Моя теория…

Он споткнулся о свинью, которой по расписанию не полагалось быть здесь в это время. Оба удалились поспешно — свинья впереди, он за ней — и оба крича.

Мисс Дженни сказала мне, что покажет мне кратчайшую дорогу через поле, и мы переговорим по пути. С минуту мы шли молча.

— Не думайте, — начала она, — что я люблю вмешиваться во все дела. Мне это даже бывает тяжело. Но ведь надо же кому-нибудь взять такие дела на себя, а бедный папа…

— Сколько вам лет? — спросил я.

— Будет двадцать.

— Я полагал, что вы старше.

— Многие так думают.

— Моя дочь Робина вам ровесница по годам. А Дику идет двадцать первый. Надеюсь, вы сойдетесь с ними. Оба не глупы. Это проявляется по временам и удивляет меня. Веронике будет девять. Что из нее выйдет, я еще не знаю. Иногда кажется, будто у нее прекрасный характер, а затем она на долгое время будто совершенно изменяется. Мамочка — мы почему-то все зовем ее «мамочкой» — приедет, когда дела здесь наладятся. Она не любит, чтоб ее считали болезненной, и если ей попадается под руки какая-нибудь работа, а мы за ней не присматриваем, то она работает во всю и утомляется.

— Я рада, что мы будем соседями — сказала мисс Дженни. — Нас всех десять человек детей. Отца вы, наверное, полюбите — все умные люди любят отца… Мама принимает по пятницам. Конечно, это единственный день, когда никто к нам не заглядывает.

Она засмеялась.

Облако между нами рассеялось.

— Гости приезжают в другие дни и застают нас очень запросто. В пятницу после обеда мы принаряжаемся, никто не показывается, и мы съедаем пирожки одни. Это сердит маму. Вы, может быть, постараетесь запомнить пятницу.

Я записал.

— А я старшая, — продолжала она, — как вам уже, вероятно, объяснил отец. За мной следуют Гарри и Джек; но Джек в Канаде, а Гарри умер. Таким образом между мною и другими теперь промежуток. Берти — двенадцать, а Теду — одиннадцать; они теперь как раз дома на вакации. Салли — восемь, а потом идут близнецы. Вообще люди не верят рассказам о близнецах, но я убеждена, что не приходится преувеличивать. Им всего шесть лет, но они такие бедовые, что трудно вообразить себе. Один мальчик, другая девочка.

Они постоянно меняются платьем, и мы никогда не знаем, кто из них Уинни, а кто Уилфрид.

Уилфрида укладывают в постель за то, что Уинни не учила гаммы, а Уинни заставляют принимать слабительное, потому что Уилфрид наелся сырого крыжовника.

Весной у Уинни была корь.

Когда доктор приехал на пятый день, он остался очень доволен и сказал, что еще ни разу ему не удавалось вылечить болезнь так скоро, и что нет причины держать Уинни дольше в

постели. У нас были подозрения, и они оказались справедливы.

Уинни спряталась в шкаф, завернувшись в одеяло. Им дела нет до того, какое они причиняют беспокойство всем, лишь бы им была забава.

Единственный способ управляться с ними, когда поймаешь их на месте преступления, — это разделить им наказание поровну, а затем предоставить свести счеты между собой.

Эльджи четыре года; до прошлого года его все звали «бэби». Теперь, конечно, это уже не подходит к нему, но прозвание так и осталось за ним, несмотря на все его протесты.

На днях отец крикнул ему:

— Бэби, принеси мне гетры!

Он направился прямо к детской кроватке и разбудил нашего меньшего. Я была как раз за дверью и слышу, как он говорит: — Вставай, снеси папе гетры. Разве не слышишь — он зовет тебя?

Потешный мальчуган. На прошлой неделе отец взял его в Оксфорд. Он мал для своих лет. Контролер только мельком взглянул на него и так, для формы, спросил, нет ли ему уже трех лет.

И не успел отец ответить, как Эльджи заявил:

— Надо быть честным, — любимая фраза отца — мне четыре.

— Как вы смотрите на переход вашего отца от маклерства, дававшего крупный доход, к сельскому хозяйству, менее прибыльному?

— Может быть, то было эгоизмом с моей стороны, — отвечала она, — но ведь я его поддерживала в этом намерении. Я нахожу унизительным заниматься такой работой, которая никому не приносит блага.

Я терпеть не могу торговаться, но люблю сельское хозяйство. Конечно, это значит, что я могу сделать себе только одно вечернее платье в год, да и то должна сшить сама. Но будь их у меня дюжина, я всегда предпочитала бы то, которое, как мне кажется, более идет ко мне. Что же касается детей, они здоровы, как молодые дикари, и все необходимое для своего счастья находят на дворе. Мальчики не хотят поступать в колледж, но ввиду того, что им придется самим зарабатывать себе пропитание, это, может быть, и хорошо. Только бедная мама всем этим сокрушается.

Она снова засмеялась.

— Ее любимая прогулка — к дому, где живут работники. На днях она вернулась домой в большом волнении; она слышала, что есть план построить для каждой женатой пары отдельный дом. Она уверена, что это окончательно разорит отца и ее.

— Ну, а вы, как участница в предприятии, надеетесь, что

ферма окупит себя? — спросил я.

— О да, наверное, — ответила она. — И теперь уже окупается. Мы живем ею и живем, не отказывая себе. Конечно, я понимаю маму, когда на руках семеро ребят, которых надо вырастить. И не одно это… — Она вдруг оборвалась, но затем продолжала со смехом: — Впрочем, вы теперь уже достаточно знакомы нам. — Папа очень любит эксперименты, а женщины вообще ненавидят их.

В прошедшем году у папы явилась фантазия ходить босиком. Конечно, это здоровее.

Но когда дети все утро пробегают по двору босиком, не особенно приятно их присутствие в таком виде за завтраком. Нельзя их вечно отмывать.

Папа так непрактичен. Он сердился на маму и меня, что мы не хотим ходить с босыми ногами. А как смешон босой мужчина…

Нынешним летом пошла мода на короткие волосы; а у Салли были такие прекрасные косы. На будущий год появятся на сцену деревянные башмаки и тюрбаны — одним словом, что-нибудь такое, что придает нам вид, будто мы члены какой-то бродячей труппы.

По понедельникам и четвергам мы говорим по-французски. У нас француженка-бонна, и это дни недели, когда она не понимает слова, обращенного к ней. Из нас также никто не понимает папу, и это раздражает его. Он не хочет сказать по-английски; записывает, что хотел сказать, чтобы объяснить нам во вторник или в пятницу, затем, конечно, забывает и удивляется, почему мы не исполняем его приказаний. Он премилый человек. Когда думаешь о нем как о большом мальчике, находишь его прелестным; и будь он действительно большим мальчиком, я бы иной раз встряхнула его и, думаю, было бы на пользу.

Она снова засмеялась.

Мне хотелось, чтобы она продолжала свой разговор: так очарователен был ее смех. Но мы вышли на дорогу, и мисс Дженни сказала, что ей пора вернуться: у нее много дела впереди.

— Однако мы еще не условились насчет Дика, — напомнил я ей.

— Он понравился маме, — сказала она.

— Если б Дик мог прокормить себя тем, что нравится людям, я бы не так тревожился о будущности своего лентяя.

— Он обещает усердно работать, если вы позволите ему заняться сельским хозяйством, — сказала мисс Дженни.

— Вы говорили с ним? — спросил я.

Она подтвердила.

— Он примется за дело хорошо: я знаю его, — сказал я, — но через месяц работа надоест ему, и он станет просить другого дела.

— Он весьма много потеряет в моем мнении, если это случится, — заметила она.

— Я передам ему ваши слова; может быть, они помогут. Неприятно потерять в глазах другого человека.

— Нет. лучше не передавайте ему этого. Скажите, что он потеряет во мнении отца. Я знаю, он понравится папе.

— Я скажу, что он потеряет во мнении всех нас, — предложил я.

Она согласилась, и мы расстались.

Когда она ушла, я вспомнил, что мы так и не договорились.

Дик встретил меня недалеко от дома.

— Я устроил твое дело, — сказал я ему.

— Очень мило с твоей стороны, — ответил он.

— Но помни: условие, чтобы ты серьезно отнесся к делу и работал усердно. Иначе, говорю тебе прямо, ты много потеряешь в моем мнении.

— Хорошо, правитель, — ответил он шутливо. — Не волнуйся.

— И в глазах мистера Сен-Леонара ты тоже потеряешь. Он составил о тебе высокое мнение. Не подавай ему повода изменить его.

— Ничего, мы с ним поладим. Не правда ли, славный старик?

— И мисс Дженни тоже изменит свое мнение о тебе, — закончил я.

— Она это сказала? — спросил он.

— Упомянула при случае, — объяснил я. — Впрочем… я только теперь вспомнил об этом: просила не говорить тебе. Она желала, чтоб я дал тебе понять, что ты потеряешь в мнении ее отца.

Дик шел рядом со мной некоторое время молча.

— Мне жаль, что я огорчал тебя, папа, — сказал он наконец.

— Я рад, что ты сознаешь это, — ответил я.

— Я теперь начну новую страницу в своей жизни, — сказал он. — Я стану усердно работать.

— Со временем, — ответил я.

VI

В этот день у нас за вторым завтраком была разогретая ветчина. Да и той немного. По-видимому, — остаток от первого завтрака. Но красивое блюдо петрушки имело привлекательный вид. Однако трудно было предположить, чтоб его хватило на завтрак четверых, из которых двое провели все утро на свежем воздухе. Это служило к извинению Дика.

— Я никогда не слыхал, чтоб на закуску подавали холодную жареную ветчину, — сказал он.

— Это вовсе не закуска, — объяснила Робина. — Больше к завтраку ничего не будет.

Она говорила холодным, бесстрастным голосом человека, отрешившегося от всяких людских волнений, и прибавила, что на ее долю ничего не надо, так как она уже позавтракала.

Вероника, изображая в тоне и манере нечто среднее между безукоризненной леди и христианской мученицей, объявила, что и она уже позавтракала.

— Жалею, что не могу сказать того же про себя, — ворчал Дик.

Я взглянул на него, предостерегая. Он, очевидно, готовил себе неприятность. Как я объяснил ему впоследствии, женщина опаснее всего, когда принимает кроткий вид. Мужчина, чувствуя раздражение, старается как можно скорее выказать его. Какой-нибудь пустячный беспорядок для него, в таком состоянии, находка. Оборвавшийся башмачный шнурок или отскочившая пуговица у сорочки является для него водой в пустыне. Какая-нибудь запонка, магически исчезнувшая из его пальцев и как бы растворившаяся в пространстве, для него благодать, какую боги посылают только своим любимцам. К тому времени как он успеет десять раз оползти кругом комнаты на четвереньках, обломить машинку для снимания сапог, шаря ею под гардеробом, наткнуться и удариться о каждую мебель в комнате и, в конце концов, наступив на эту самую запонку, раздавить ее, — весь его гнев улетучится. Все в нем уляжется и успокоится. Он приколет воротник английской булавкой, напевая притом про себя старинную песенку.

За отсутствием даров Провидения, дети — если они здоровы — также доставляют ему возможность облегчить раздражение. Рано или поздно один из ребят сделает что-нибудь такое, чего не посмел бы сделать их отец в детстве — даже что ему и в голову не могло бы прийти. Ребенок начинает уверять, что, во-первых, он не совершал приписываемого ему проступка, что по многим

причинам, на большинстве которых не стоит останавливаться, он не мог его сделать; а во-вторых, что он сделал именно то, что ему приказывали сделать, и желая всегда быть послушным — он пожертвовал всеми своими взглядами, отступил от своего правила и сделал это. (Ведь мир, хотя медленно, но идет вперед, и рассуждения ребенка тому доказательство.) Таким образом ребенок доказывает, что он не мог бороться против судьбы.

Отец заявляет, что не желает слушать всех оправданий по этому поводу или по другому ни теперь ни впредь. Он говорит, что теперь в доме все пойдет по-иному, все переменится. Он вдруг вспоминает все правила и постановления, изданные им за последние десять лет для общего руководства и забытые всеми, в том числе и им самим. Он спешит перечислить их все снова, боясь, как бы опять не позабыть чего. К тому времени, как ему самому, если не другим, удастся понять, чего он хочет, дети начинают вертеться у его ног, выманивая у него обещания, в которых впоследствии, успокоившись, он будет раскаиваться.

Я знаю одну женщину — умную и добрую женщину, старающуюся каждый раз, как она замечает, что раздражение начинает мучить мужа, облегчить его страдания. Я знаю, что с этой целью она отыскивает где-нибудь газету от прошлого месяца и, выгладив ее, кладет ему на тарелку за завтраком.

— За одно надо благодарить судьбу, — ворчит он десять минут спустя с своего конца стола, — что мы не живем в Дитчли на болоте.

— Должно быть, сырое место, судя по названию, — замечает жена.

— Сырое! — ворчит он, — Что такое, что немного сырое! Это здорово. Благодаря тому мы, англичане, таковы, каковы есть. А вот что тебя чуть не каждую неделю могут зарезать в твоей постели, вот это скверно.

— Разве там часто случаются подобные вещи? — спрашивает жена.

— По-видимому, это главная промышленность той местности. Разве ты не помнишь, как собственный садовник убил домовладелицу, старую деву, и закопал на птичьем дворе. Вы, женщины, не интересуетесь общественными делами.

— Ах, да, теперь я припоминаю, — сознается добрая женщина. — А между тем садовники всегда вселяют к себе такое доверие.

— Очевидно, в Дитчли на болоте водится особая порода их, — следует ответ. — Вот опять в прошлый понедельник, — продолжает читать муж, с видимо возрастающим интересом. — Почти такой же случай… и опять садовый нож… Вот увидишь: он,

наверное, закопает ее на птичьем дворе. Удивительно…

— По-видимому, здесь действует подражательный инстинкт, — высказывает свое предположение жена. — Ты сам часто указывал, что одно преступление порождает другое.

— Да, я всегда утверждал это, — соглашается он, — это моя всегдашняя теория.

Он складывает газету.

— Скучна эта политика, — изрекает он. — Вот, например, герцог Девонширский начинает рассказывать смешную историю о каком-то попугае. Да, он эту историю рассказывал месяц тому назад. Я отлично помню, что читал ее. Конечно, готов поклясться, слово в слово то же самое. Это показывает, какие люди нами управляют.

— Нельзя требовать, чтоб у всех был такой запас ресурсов, как у тебя, — замечает жена.

— Нечего ему и говорить, в таком случае, что он только что слышал этот рассказ, — заключает супруг.

Он принимается за второй столбец.

— Что за черт! С ума я, что ли, сошел?

Он обращается к старшему мальчику и раздраженно спрашивает:

— Когда были последние гонки в Оксфорде и Кембридже?

— Гонки в Оксфорде и Кембридже? — повторяет изумленный мальчик. — Да уж давно. Ты ведь возил нас туда в, прошлом месяце. В воскресенье пред тем…

В следующие десять минут отец поддерживает разговор один без посторонней помощи. Наконец он устает, даже немного хрипнет. Но тем временем дурное расположение духа проходит. Его только огорчает, что он не мог дать ему достаточно воли. Можно бы и еще немного разойтись.

Женщины не сведущи в механике. Женщина думает, что вы можете справиться с паром, выпуская его кверху, а сами усаживаясь на предохранительном клапане.

— При том расположении духа, в каком я сегодня утром, когда я готова была бы свернуть всем им шею, — рассуждает про себя женщина, — я вижу, что мне надо делать… Это ясно: я должна тихонько ползать по дому, прося каждого, имеющего время, наступить на меня.

Она старается навести вас на разговор о ее недостатках. Когда вы кончили, она желает, чтобы вы продолжали; припоминая, что вы кое-что пропустили. Она удивляется, как это случается, что она всегда сделает что-нибудь не так. Тут должна быть причина, только она никак не может найти ее. Она удивляется, как люди могут уживаться с ней, и находит это

слишком большой добротой с их стороны.

Наконец, само собой разумеется, происходит взрыв. Неприятно то, что ни она сама и никто другой не знает, когда это произойдет. Чем мягче настроена женщина, тем сильнее ее приходится опасаться. Все это я сказал Дику. Он как-нибудь сам убедится в верности моих наблюдений.

— Ты совершенно справедливо сердишься на меня, — ответила Робина, — мне нечем извиняться. Все результат моего неблагоразумия.

Ее трогательная скромность должна была бы подействовать на Дика. Он может быть отзывчивым, когда не голоден. Но как раз в этот день он был голоден.

— Я ушел, когда ты делала пирог, — сказал он. — Мне он казался порядочных размеров. На столе лежала утка, цветная капуста и картофель; Вероника до локтей ушла в горох. У меня разыгрался аппетит, когда я только прошел через кухню. Чтоб не испортить его, я не стал ничего есть в городе. Куда же девалось все? Ведь не могли же вы с Вероникой сесть всю эту массу провизии?

Одно только способно — что она сама признает — истощить терпение Вероники: это несправедливое подозрение.

— Разве похоже, чтобы я целые часы только ела да ела? — спросила она. — Можешь пощупать мою талию, если не веришь.

— Ты сказала, что уж позавтракала, — не унимался Дик.

— Знаю, что сказала, — ответила Вероника. — Минуту тому назад тебе говорят, что нехорошо лгать, а потом сейчас же…

— Вероника!.. — с угрозой прервала ее Робина.

— Тебе легко, — огрызнулась Вероника, — ты не растешь. Ты не чувствуешь этого.

— Самое лучшее будет, если ты помолчишь, — посоветовала Робина.

— Какая будет польза? — ответила не без основания Вероника. — Ты расскажешь им, когда я лягу спать, и мне нельзя будет вставить за себя ни слова. Вечно я во всем виновата. Мне, право, иной раз хочется, чтоб я умерла…

— Умереть, — поправил я ее, — а после глагола *хотеть* здесь лучше поставить неопределенное наклонение…

— Тебе следовало бы благодарить Провидение, что ты жива.

— Люди раскаиваются, когда человек умрет, — заявила Вероника.

— Надеюсь, в доме найдется хлеб и кусок сыра? — спросил Дик.

— Почему-то булочник не зашел сегодня, — отвечала Робина мягко. — Тоже и разносчик. Все, что есть съедобного в доме, — на

столе.

— Бывают такие случайности, — заметил я. — Философы на это, — как говорит наш приятель Сен-Леонар, — только посмеиваются.

— Я бы посмеялся, если бы ему пришлось так позавтракать, — заявил Дик.

— Старайся развить в себе юмор, — посоветовал я. — С юмористической точки зрения завтрак недурен.

— Тебя чем-нибудь покормили у Сен-Леонар? — спросил Дик.

— Я только выпил стакан пива да съел пару сэндвичей, — признался я. — Нам принесли, когда мы разговаривали на дворе. Говоря правду, и я порядком проголодался.

Дик не отвечал и продолжал жевать сухую ветчину. По-видимому, ничто не могло развеселить его. Я решил затронуть его моральное чувство.

— Обед — это приложимо и к завтраку — из трав и при нем довольство судьбой иной раз лучше «упитанного быка»… — начал я.

— Пожалуйста, не упоминай о быках, — прервал он меня легкомысленно. — Я, кажется, готов бы съесть целого да препорядочного.

Есть у меня знакомый. Скажу откровенно, он раздражает меня. По его мнению, человек должен вставать из-за стола полуголодным. Я раз объяснил ему, что нельзя встать из-за стола, чувствуя голод, если не сел за стол голодным, из чего следует, что бываешь вечно голоден. Он согласился, но прибавил, что на это у него свой взгляд.

— Большинство людей, — объяснил он, — встают из-за стола, потеряв интерес к пище. Подобное состояние ума вредно для пищеварения. Надо постоянно, чтобы он чувствовал интерес — вот как с ним обращаться…

— То есть с кем это? — спросил я.

— Ну конечно, с кем же как не с желудком… Вот, например, взять меня. Я встаю из-за первого завтрака, думая о втором. Встаю из-за второго завтрака, думая об обеде. Иду спать, готовый к завтраку.

Приятное ожидание, по его словам, необыкновенно помогает пищеварению.

— Я называю себя «веселым кормильцем», — сказал он.

— Да у вас и вид такой, — ответил ему я. — Вы говорите, как утка, вечно думающая о желудке. Разве у вас нет другого интереса в жизни? Каковы ваши взгляды на домашнюю жизнь, патриотизм, Шекспира… и тому подобное? Почему не дать

вашему хозяину плотно пообедать, а затем получить на несколько часов свободу подумать о другом?

— Как вы можете думать о чем-нибудь, когда ваш желудок не в порядке, — сказал он.

— Вы становитесь не человеком, а нянькой собственного желудка. — Мы оба начинали раздражаться, забывая о природной утонченности.

— Вы не в состоянии воспользоваться своим единственным свободным вечером в неделю. Предполагаю, что вы вообще человек здоровый. Таковы каторжники в Портланде. Они никогда не страдают от несварения желудка. Я знал доктора, прописавшего однажды одному своему пациенту два года каторжных работ как единственное лекарство, способное вылечить его. Ваш желудок запрещает вам курить. Он заставляет вас пить слабительную минеральную воду, когда вам того вовсе не надо, предполагая, что наступит минута, когда вам это понадобится. Вы лишены ваших обычных блюд и принуждены питаться особенно приготовленной пищей, точно вы какой-то цыпленок, которого откармливают для выставки. Вас укладывают в постель в одиннадцать часов и одевают в гигиеническое платье, вовсе не подходящее вам. Приходится питаться по зернышку! Нет, я бы при всем своем терпении сбежал от такого желудка…

— Насмехаться легко, — сказал он.

— Я вовсе не насмехаюсь, — отвечал я. — Я только симпатизирую вам.

Он сказал, что вовсе не нуждается в симпатии, и прибавил, что, если бы я отказался от привычки переедать и перепивать, я бы сам изумился, каким веселым и умным стал.

Я подумал, что воспоминание об этом человеке может оказаться нам полезным в данную минуту. Поэтому я заговорил о нем и его теории. На Дика она, казалось, произвела впечатление.

— Он симпатичный человек? — спросил Дик.

— Серьезный, — ответил я. — Он на практике применяет то, что проповедует, и поэтому ли или несмотря на это, — только более веселого человека я не встречал.

— Женат? — спросил Дик.

— Нет, холостой, — ответил я. — Он во всем ищет идеала. Он объявил, что не женится, пока не найдет девушки, подходящей под его идеал.

— А как насчет Робины? — спросил Дик. — Они, по-видимому, созданы друг для друга.

Робина улыбнулась кроткой, страдальческой улыбкой.

— Но и он потребовал бы, чтоб его бобы были сварены вовремя, и пожелал бы, чтоб в доме был всегда запас орехов, —

заметила она. — Нет, нам, неспособным женщинам, никогда не следует выходить замуж.

Мы справились с ветчиной. Дик объявил, что он намерен прогуляться в город. Робина предложила ему взять с собой Веронику: пара лепешек и стакан молока будут ей не лишние.

Какими-то удивительными судьбами Вероника сразу нашла все свои вещи. Не успел Дик набить трубку, как Вероника была уже готова и ждала его. Робина сказала, что даст им список вещей, которые просит привезти. Кстати она попросила Дика захватить с собой паяльщика, плотника, каменщика, стекольщика и гражданского инженера, позаботившись, чтобы они все выехали за раз. Она полагала, что, принявшись дружно за дело, они справятся со всем, что нужно на первое время. Главное, чтобы работа была начата безотлагательно.

— Да в чем дело? — спросил Дик. — Приключилось что-нибудь?

Тут Робину взорвало. Я все ждал, когда это случится. Взрыв произошел в эту минуту, к удивлению Дика.

— Да, — ответила она, — приключилось.

«Неужели он полагает, что она считает несчастные огрызки ветчины достаточным завтраком для четырех человек? Неужели это любовь к родителям, к матери, которую, он говорит, что обожает, к отцу, седины которого своим общим поведением сводит в могилу — так, без дальнейших околичностей утверждать, что их старшая дочь идиотка?» (Кстати сказать, я вовсе не седой. Может быть, кое-где и проглядывает намек на седину, но это результат напряженного мышления. Называть меня седым, значит проявлять полное отсутствие наблюдательности; что касается могилы, то в сорок восемь лет человек не сходит в могилу, по крайней мере, не стремится сойти. Робина в минуты возбуждения выражается гиперболами. Впрочем, я не прерывал ее — намерение у нее было хорошее. Кроме того, прерывать Робину, когда, по ее собственному выражению, ей надоест разыгрывать червя, это все равно что пытаться удержать циклон зонтом.) «Если бы внимание Дика было менее сосредоточено на поглощении холодной ветчины (бедняга, он съел всего четыре ломтика), он заметил бы, как бедная терпеливая девочка (это относилось к Веронике) умирала с голода на его глазах; как его бедная старшая сестра сама нуждается в подкреплении, и понял бы, даже при своей ограниченности, что что-нибудь случилось. Вероятно, что что-нибудь случилось». Себялюбие, эгоизм мужчин возмущали Робину.

Она остановилась. Не от недостатка материала, как видел, но, скорее, чтобы перевести дух. Вероника оказала услугу,

выразив надежду, что сегодня лавки запираются раньше. Робина была убеждена, что именно так, и вполне похоже на Дика, как он тут прохлаждается, так что, в конце концов, окажется поздно что-либо предпринять.

— Уж целых пять минут я стараюсь выбраться, — напомнил ей Дик с своей ангельской улыбкой, способной, на мой взгляд, довести до бешенства. — Когда ты кончишь ораторствовать, я уйду.

Робина объявила, что она кончила «ораторствовать», и объяснила почему. Если бы обращение к нему вообще приносило бы какую-нибудь пользу, она часто считала бы своим долгом говорить с ним не только о его глупости, эгоизме и всех усиливающих вину обстоятельствах, но просто о его общем поведении. Она извиняет свое молчание только глубокой уверенностью в безнадежности когда-либо добиться какого-нибудь улучшения в нем. Будь это иначе…

— Нет, серьезно, — спросил Дик, нарушая свое молчание, — вероятно, как я предполагаю, случилось что-нибудь с печью, и тебе нужен печник?

Он отворил кухню и заглянул в нее.

— Вот тебе и на! Да здесь было землетрясение? — воскликнул он.

Я заглянул также через его плечо и заметил:

— Да как же могло быть землетрясение, чтоб мы не ощутили его?

— Конечно, не землетрясение, — объяснила Робина, — эта ваша меньшая дочь попыталась принести пользу.

Робина говорила строго. Я с минуту чувствовал, будто натворил все это сам. У меня был дядя, говоривший таким тоном. — «Твоя тетка, — заявлял он, смотря на меня с упреком, — твоя тетка может, когда ей вздумается, делаться самой несносной женщиной». Я по целым дням после того ходил как в воду опущенный. Я не знал, передавать ли это тетке, или я тем еще только больше напорчу.

— Но как же она сотворила это? — спросил я робко. — Невозможно, чтобы ребенок… Да где же она?

В гостиной оказалась одна Робина. Я поспешил к двери. Дик уже шагал по полю. Вероники не было видно.

— Мы спешим, — крикнул мне Дик, обернувшись, — на случай, если сегодня лавки запираются рано.

— Мне надо Веронику, — снова крикнул я.

— Что? — крикнул Дик.

— Веронику! — Я приложил руку в виде трубы к губам.

— Она здесь! Убежала вперед, — ответил Дик.

Надрываться дальше было бесполезно. Он взбирался по ступенькам на откос.

— Они всегда заодно, эти двое, — со вздохом заявила Робина.

— Да, впрочем, и ты не лучше, — сказал я. — Если не он покрывает ее, так ты. А когда ты бываешь виновата, они принимают твою сторону. Ты становишься на его сторону. Он же покрывает вас обеих. Оттого мне так и трудно воспитать вас. (И это правда!) Как это все случилось?

— Я все приготовила, — отвечала Робина, — утка и пирог были в духовом шкафу, горошек и картофель варились как следует. Мне стало жарко, и я подумала, что могу на минуту поручить Веронике присмотреть за плитой. Она обещала не играть в «короля Альфреда».

— Это что такое? — спросил я.

— Ну, помнишь историю короля Альфреда с пирогами. В прошедшем году, когда мы ездили по реке, я попросила ее как-то присмотреть за пышками. Вернувшись, я увидала, что она сидит перед огнем, закутавшись в скатерть, с мандолиной Дика на коленях и в картонной короне на голове. Пышки все превратились в золу. Когда я сказала ей, что знай я, какую вещь она затевает, я бы ей дала кусочков теста для ее игры, она, как бы вы думали, объявила, что этого ей вовсе не было нужно! Ей нужны были настоящие пышки, а я должна была настоящим образом выйти из себя: это-то и есть самое интересное в игре. Несносная девчонка!

— В чем же состояла игра на этот раз? — спросил я.

— Мне кажется, на этот раз игры не было, по крайней мере, сначала, — отвечала Робина. — Я пошла в лес нарвать цветов к обеду и уж возвращалась, как в некотором расстоянии от дома услыхала как будто выстрел. Я думала, что кто-нибудь выстрелил из ружья, только удивлялась, кто это стреляет в июле, но подумала: «Должно быть, по кроликам». Бедняжек кроликов никогда не оставляют совершенно в покое. Поэтому я и не спешила. Вероятно, прошло минут двадцать, пока я добралась домой. Вероника стояла в саду в оживленном разговоре с каким-то мальчишкой-оборванцем. Лицо его и руки были все черные. Ничего подобного нельзя себе представить. Оба казались очень взволнованными. Вероника пошла мне навстречу, и с таким же серьезным видом, как я рассказываю теперь, рассказала мне самую невозможную сказку.

Она сообщила, что через несколько минут после моего ухода из леса вышли разбойники, — по ее рассказу можно предположить, что их было до трехсот — и стали требовать с ужасными угрозами, чтоб она впустила их в дом. Почему они не

отперли сами и не вошли, она не объяснила. Казалось, этот коттедж служил им местом свидания, где скрыты все их сокровища. Вероника не хотела их впустить и стала кричать; и вот появился этот мальчишка, которого она представила мне под именем в роде «сэра Роберта» — и тут произошло… Нет, у меня не хватит терпения пересказывать всю чепуху, которую она городила… В конце концов, разбойники, видя, что им нельзя пробраться в дом, подожгли какую-то потайную мину, которая взорвалась в кухне. «Если ты не веришь, — добавила Вероника, — тебе стоит только войти и взглянуть». Вот какую сказку они оба придумали. Целые четверть часа мне пришлось протолковать с Вероникой, объясняя ей, что тебе придется дать знать в полицию, а ей предстоит убедить судью и присяжных в истинности происшествия, пока, наконец, удалось добиться какого-нибудь толка.

— Какого же ты толка добилась? — спросил я.

— Да и теперь я еще не вполне уверена, что она сказала правду, — отвечала Робина, — у этой девочки, кажется, полное отсутствие так называемой совести. Что из нее выйдет впоследствии, если она не изменится, страшно подумать…

— Я не хочу торопить тебя, — перебил я ее, — и, может быть, даже ошибаюсь в определении времени, но мне кажется, что уж прошло больше часа, как я осведомился у тебя, каким образом в действительности произошла катастрофа.

— Да я уже сказала, — ответила Робина обиженным тоном. — Вероника была вчера в кухне, когда я в разговоре с поденщицей, помогавшей мне при уборке, упомянула, что кухонная труба дымит, и она сказала…

— Кто сказал? — спросил я.

— Ну конечно, она, — отвечала Робина, — то есть поденщица. Она сказала, что часто достаточно горсточки пороха…

— Ну наконец-то добрались! — обрадовался я. — Теперь, может быть, я в состоянии буду помочь тебе, и мы дойдем до конца.

При слове «порох» Вероника насторожила уши. Порох по своей природе привлекает симпатию Вероники. Она пошла спать, мечтая о порохе. Оставаясь одни перед огнем в кухонной печи, другие девушки видят, может быть, фантастические картины в тлеющих углях, принцев, кареты, балы… Вероника мечтала о порохе. Кто знает? Может быть, со временем она сама выдумает какой-нибудь порох. Она поднимает глаза — перед ней волшебница в наряде мальчика — ведь он был мальчик?

— Даже очень миленький; я его нашла оригинальным, —

ответила Робина, — по моему, сын зажиточных родителей. Он был одет — или, скорее, прежде был одет — в костюмчик…

— Вероника знала, кто он, или, вообще, откуда он?

— Я не могла добиться от нее ничего, — отвечала Робина. — Тебе знакома ее манера, как она водит всех за нос. Я сказала ей, что, занимайся она своим делом и не смотри в окно, она бы не увидала его, как он шел в эту минуту полем.

— Очевидно, мальчуган, рожденный на несчастье, — заметил я. — Веронике, конечно, он показался ответом на ее молитву. Мальчику, само собой разумеется, должно быть известно, где достать пороха.

— Они, должно быть, раздобыли его целый фунт, судя по результатам, — высказала свое предположение Робина.

— Есть какие-нибудь сведения о том, откуда он у них взялся? — спросил я.

— Нет, — ответила Робина. — Вероника говорит только, что мальчик ей сказал, где его можно достать, ушел и вернулся минут через десять. Конечно, украл у кого-нибудь… По-видимому, и это не смущает ее.

— Она увидала в нем дар богов, Робина, — объяснил я. — Я помню, как сам лет в десять относился к таким вещам. Спрашивать дальше казалось ей святотатством. Как только их обоих не убило?

— Провидение! — высказала Робина свое соображение, казавшееся ей единственным возможным. — Они подняли одну из крышек конфорки и бросили туда порошок, к счастью, завернутый в пакет из толстой бумаги, что дало им обоим возможность выбежать в сад. По крайней мере, Вероника отделалась благополучно. Спотыкнулся на этот раз на коврик, для разнообразия, не она, а мальчуган.

Я снова заглянул в кухню, затем, вернувшись, положил руки на плечи Робины и сказал:

— Какая, оказывается, презабавная история.

— Которая могла бы кончиться очень серьезно, — добавила Робина.

— Конечно, могло бы случиться, что Вероника теперь бы лежала наверху, — согласился я.

— Бессердечная, злая девчонка, — решила Робина. — Она должна быть наказана.

— И будет, — сказал я. — Я придумаю что-нибудь.

— И меня следовало бы наказать, — заявила Робина. — Моя вина, что я ее оставила одну, зная, какова она. Я могла стать ее убийцей. А ей и горя мало. Она в эту минуту отъедается пирожками.

— От которых у нее, вероятно, расстроится желудок, — сказал я. — Надеюсь, что будет так.

— Отчего у тебя не лучшие дети? — со слезами спросила Робина. — Ни один из нас не приносит тебе утешения…

— Правда, вы не такие дети, каких я бы желал, — согласился я.

— Вот мило с твоей стороны говорить такие вещи! — ответила мне Робина с негодованием.

— Мне хотелось иметь прелестных детей, — объяснил я свою мысль, — таких, каких я создал в своем воображении. Уже малютками вы приводили меня в отчаяние.

Робина взглянула на меня с удивлением.

— И ты, Робина, больше всех, — дополнил я. — Дик был мальчик; от мальчиков не ожидают, чтобы они были ангелами; а к тому времени, как появилась Вероника, я уже несколько свыкся с порядком вещей. Но когда ты родилась, я так волновался. Мама и я тихонько ночью пробирались в детскую, чтобы взглянуть на тебя. «Не удивительно ли, когда подумаешь, — говорила мама, — что скрывается в ребенке: шаловливая девочка, очаровательная девушка, жена, мать»… Я шептал ей: «Я буду растить ее. Большинство девушек, которых встречаешь в книгах, — какие-то искусственные. Как хорошо иметь свою дочку. Я заведу дневник, который буду запирать на ключ, и стану записывать все о ней».

— И завел? — спросила Робина.

— Нет, отложил, исписав всего несколько страниц, — сознался я. — Я уж очень рано заметил, что ты не будешь моей идеальной героиней. Я мечтал о девочке-картинке, чистенькой, с загадочной волшебной улыбкой. Твой носик приходилось каждую минуту утирать, и вообще в тебе мало было поэтического. Лучше всего ты была, когда спала, но ты именно не спала, когда это было наиболее желательно. Художники, рисующие в юмористических журналах изображение мужчины в ночной сорочке, подбрасывающего плачущего ребенка, сами не женаты. Отцу семейства такие картины напоминают его собственные злоключения. Если ребенок болен или огорчен — это другое дело. Но трагедия в том, что именно у нас, преисполненных таких благих намерений, ребенок всегда самый обыкновенный, капризный, упрямый… Вот ты стала подрастать. Я мечтал о девочке с глазами, глубокими, как бездна, о девочке, которая в сумерки пробиралась бы ко мне и расспрашивала о загадках жизни…

— А я разве не расспрашивала тебя? — спросила Робина. — Только ты всегда говорил мне, чтоб я не приставала.

— Разве ты не понимаешь, Робина? — ответил я. — Я

обвиняю не тебя, а самого себя. Мы подобны детям, которые сажают семена в саду, а затем сердятся, что выходят цветы не такие, каких они ожидали. Ты была милая девочка, я вижу это теперь, оглядываясь назад. Но не такая, какую я создал в своих мечтах.

Итак, я просмотрел тебя, думая о девочке, какой ты не была. И всю жизнь идет так. Мы всегда ищем цветов, которые не растут, и проходим мимо окружающих нас бутонов, растаптывая их. То же было и с Диком. Я желал иметь шаловливого мальчика. Дик был достаточно шаловлив, — этого нельзя отнять. Но не в моем духе. Я думал, что он будет залезать в фруктовые сады. Даже как будто надеялся на это.

Все умные мальчики в книжках забираются в чужие сады, и впоследствии делаются великими людьми.

Но под рукой не было фруктового сада. В то время, когда ему полагалось грабить сады, мы жили в такой местности Лондона, где их не сыщешь.

В этом, конечно, моя вина. Я не подумал о том. Он в компании с другим мальчиком — сыном простого цирюльника, бреющего людей за три полпенни — украл велосипед у дамы, оставившей его пред дверью чайного домика в парке Баттерси. Я по теории республиканец, но мне было неприятно, что мой сын попал в подобное общество. Им удалось скрывать велосипед в продолжение недели, пока однажды ночью полиция не нашла его искусно спрятанным в кустах. Рассуждая логично, я не понимаю, почему красть яблоки благородно, а красть велосипеды низко; но тогда мне казалось, что это так. Не о такой краже я мечтал.

Я желал, чтобы сын мой был головорезом; книжный герой в дни своего пребывания в школе всегда бывает головорезом. И Дик был головорезом.

Мне обошлось в триста фунтов, чтобы дело о поручительстве не дошло до суда. Потом он напился и поколотил епископа, приняв его за «бульдога». Ошибка куда бы еще ни шла, но что сын мой мог до того напиться!..

— После того ничего такого с ним уже не случалось, — вступилась за брата Робина. — Да и тогда он выпил всего три бокала шампанского и ликера. Виноват ликер — Дик к нему не привык. Он попал в плохую корпорацию. Нельзя в колледже принадлежать к корпорации «головорезов», не напиваясь при случае.

— Может быть, это и так, — согласился я, — По книгам, молодой человек пьет, никогда не напиваясь.

Может быть, существует разница между книгой и жизнью. В книге ты наслаждаешься своей забавой, но каким-то образом

ускользнешь от расплаты за нее; в жизни расплата единственный несомненный результат. Я искал воображаемого головореза, который за две недели до экзамена обвязывает себе голову мокрым полотенцем, пьет крепкий чай и проходит «с отличием».

Дик говорил, что он пробовал прибегать к мокрому полотенцу, но оно никак не держалось на месте. Мало того, оно вызвало у него невралгию; а крепкий чай причиняет расстройство желудка. Я рисовал себе гордого, снисходительного отца, отчитывающего сына за проделки, иногда отворачиваясь, чтобы скрыть свою улыбку. В действительности мне не представлялось случая скрывать улыбки. Я чувствую, что он поступает недобросовестно, тратя по-пустому мои деньги и свое время.

— Он теперь хочет начать новую страницу своей жизни, — сказала Робина. — Я уверена, что из него выйдет прекрасный сельский хозяин.

— Я не мечтал о сельском хозяине, — ответил я. — Я мечтал о первом министре. Да, много разочарований приносят дети!

Вот и Вероника совсем не то, что я думал. Я люблю шаловливых детей, люблю читать рассказы о них; их шалости меня забавляют. Но вовсе не забавляет ребенок, который кладет фунт пороху в горящую печку и сам спасается только каким-то чудом.

— А между тем, — заметила Робина, — опиши это в книге — ну, хоть бы ты сам — получилась бы смешная история.

— Может быть, — согласился я. — Беды, случающиеся с другим человеком, всегда могут быть смешными. Как-никак, а теперь я в продолжение полгода буду бояться, как только она скроется у меня из глаз, чтобы она еще не напроказничала чего-нибудь. Это страшно расстроит мамочку, если нам не удастся скрыть от нее.

— Дети всегда останутся детьми, — в виде утешения проговорила Робина.

— Вот на это-то я и сетую, Робина. Мы всегда надеемся, что наши дети составят исключение. В Веронике масса недостатков, и недостатков вовсе не извинительных. Она ленива — даже мало, что ленива…

— Ленива, — согласилась Робина.

— Но в ней могли бы быть другие недостатки, которые вовсе не портили бы ее, — указал я, — недостатки, которые вызвали бы мое сочувствие и заставили бы еще больше любить ее. Вы, дети, так упрямы. Вы и недостатки свои выбираете по своему вкусу. Вероника не всегда правдива. Я желал, чтобы у меня семья состояла из маленьких Георгов Вашингтонов, которые не в состоянии были бы солгать. А Вероника на это способна. Чтобы

выпутаться из беды, и если есть надежда, что ей поверят, она солжет.

— Все мы в детстве были способны на это, когда чувствовали за собой вину, — утверждала Робина, — и Дик и я. Это недостаток обычный у детей.

— Знаю, — ответил я, — но я не желал иметь детей с обычными недостатками: я желал иметь что-либо оригинальное. Я желал, чтобы Робина была моей идеальной дочерью. У меня в уме составился образ дочери очаровательной. Ты нисколько на нее не похожа. Не говорю, чтобы она была совершенством, и у нее могли быть свои недостатки, но это были бы такие милые недостатки — куда милее твоих, Робина. У нее был бы характер, — женщина без характера скучна, — но такой характер, за который ее только больше бы любили. У тебя не такой. Хорошо бы, если б ты не так торопилась и предоставила мне образовать твой характер. Мы бы все с большим одобрением отнеслись к нему. Он имел бы всю привлекательность твердого характера, не имея его неприятных сторон.

— Отчего ты не образовал собственного характера по этому образцу, папа? — спросила Робина.

— Я имел в виду женский характер, Робина, — объяснил я. — А что ты находишь дурного в моем?

— Да ничего, — ответила Робина, но ее тон возбуждал сомнение. — Мне иногда кажется, что было бы лучше, если бы у тебя был характер более пожилого человека — вот и все.

— Ты уже не раз намекала мне на это, Робина, — заметил я, — не только относительно моего характера, но вообще относительно всего. Ты как будто недовольна мною, что я слишком молод.

— Может быть, не годами, — отвечала Робина, — но… да ты сам понимаешь, в чем дело. Всегда хотелось бы, чтобы отец был выше и почтеннее всех.

— Мы не можем изменить своего я, — объяснил я ей. — Другая дочь ценила бы, что в отце сохранилось настолько юношеской отзывчивости, что он может сочувствовать детям и понимать их. Почтенный старый ворчун воспитал бы вас совершенно иначе. Позволь доложить тебе это, дочь моя. Вряд ли ты любила бы такого отца.

— Очень может быть, — согласилась Робина. — Ты прав: в некоторых отношениях ты бываешь очень мил.

— Приходится в этой жизни брать людей такими, как они есть. Не можем мы требовать, чтобы все были таковы, какими мы бы желали их видеть, а может быть, даже, будь они такими, они бы вовсе не нравились нам. Не беспокой себя мыслью, насколько

они были бы лучше, а лучше думай, насколько они хороши, как есть.

Робина сказала, что попытается.

У меня проснулась надежда, что из Робины выйдет разумная женщина.

VII

Дик и Вероника вернулись, отягченные свертками. Они объявили, что, «дядя-Сли» — как, по-видимому, все звали известного местного строителя — едет вслед за ними в своей тележке и любезно взялся доставить более громоздкие покупки.

— Я старался поторопить его, — говорил Дик, — но, по-видимому, предварительно вымыться и напиться хорошенько чаю для него значит торопиться. Говорят, он честный старик, медлительный, но надежный. Про других мне передавали, что они еще медленнее. Впоследствии, может быть, ты поговоришь с ним и о доме.

Вероника сняла шляпу и перчатки, все положила на место и сказала, что если она никому не нужна, то пойдет наверх и почитает «Векфильдского священника». Робина и я съели за чаем по яйцу. Как раз, когда мы кончали, прибыл мистер Сли, и я сейчас же повел его в кухню. Это был крупный человек с задумчивым выражением, часто вздыхавший. Увидав нашу кухню, он тоже вздохнул.

— Здесь четверо рабочих четыре дня проработают, — сказал он. — Надо сложить новую печку. Боже, сколько хлопот с детьми!

Робина согласилась с ним.

— А как же мне тем временем готовить? — спросила она.

— Уж, право, не знаю, мисс, — со вздохом произнес мистер Сли.

— Придется обратно перебраться восвояси, — высказал свое предположение Дик.

— Объяснить мамочке причину и напугать ее до смерти! — с негодованием воскликнула Робина.

У нее оказались другие планы. Мистер Сли уехал, пообещав начать работы в семь часов утра в понедельник. Как только дверь за ним затворилась, Робина заговорила:

— Пусть папа скушает бутерброд и постарается попасть на поезд в шесть пятнадцать.

— Всем нам недурно бы скушать по бутерброду, — заметил Дик, — я бы не отказался.

— Папа может сказать, что он должен был вернуться в город по делам, — объясняла дальше Робина. — Этого будет достаточно, и мамочка не встревожится.

— Не поверит она, чтобы его вызвали по делам в девять часов вечера в субботу, — высказал свои предположения Дик. — Ты, кажется, предполагаешь, что мама ровно ничего не может сообразить. Она сейчас догадается что что-то неладно, и станет

расспрашивать. Ты ведь ее знаешь.

— Папа успеет придумать что-нибудь подходящее во время дороги, — возразила ему Робина. — Папа на этот счет мастер. Когда я сбуду папу с рук, мы уж как-нибудь устроимся. Мы сами можем прожить холодным мясом или вроде того. К четвергу все будет в порядке, и папа может вернуться к нам.

Я указал Робине ласково, но твердо, полную несообразность ее плана. Как мог я оставить без присмотра их троих, беспомощных детей? Что сказала бы мамочка? Чего не натворит Вероника в моем отсутствии? Нет, надо было измыслить что-нибудь другое. Каждую минуту можно было ожидать прибытия осла, и не было ответственного лица, которое могло бы принять его и присмотреть, чтобы его насущные потребности были удовлетворены. Мне предстояло еще раз увидеться с мистером Сен-Леонар, чтобы окончательно условиться с ним насчет Дика. Кто присмотрит за коровой, которую предстояло перевести в отдельное от нас помещение? Снова мог появиться молодой Бьют с каким-нибудь новым планом. Кто мог бы показать ему дом, объяснив все обстоятельно? Мог прийти новый мальчик-работник — тот самый простодушный сын земли, которого мисс Дженни обещала откопать для меня и прислать. Он говорит, вероятно, по-беркширски. Кто же будет в состоянии понять его и ответить ему на том же наречии? Что толку волноваться и говорить глупости?

Робина продолжала резать хлеб. Она ответила, что они не беспомощные дети, и сказала, что, если она с Диком в сорок два года не научились управляться с коттеджем в шесть комнат, то пора научиться.

— Кому это сорок два года? — спросил я.

— Нам, — ответила Робина. — Мне и Дику… Между нами будь сказано, в следующий день нашего рождения нам вместе будет сорок два. Почти столько же, сколько тебе. Вероника в несколько дней совсем не будет похожа на ребенка, — продолжала Робина. — Она не имеет понятия о золотой середине. Она или такая как есть, или переходит в другую крайность и пытается изобразить ангела. До конца недели можно будет прожить, воображая, что живешь с бестелесным духом. Что касается осла, мы попытаемся устроить так, чтобы он чувствовал себя не чужим, хотя бы тебя и не было.

Я не хочу говорить неприятные вещи, папа, но из твоих слов можно заключить, что ты считаешь себя из всех нас единственным способным заинтересовать его. Мне кажется, он согласился бы на одну-две ночи разделить хлев с коровой. Если ему не понравится подобный план, Дик может поставить перегородку. Я думаю, что пока, до твоего возвращения, корову можно бы продержать там,

где она стоит. Она помогает мне проснуться поутру. Можешь считать дело относительно Дика улаженным. Если ты целый час протолкуешь с Сен-Леонаром, то разве только о будущем желтой расы или возможности жизни на Юпитере. Когда ты заикнешься об условиях, он обидится, а если он не захочет говорить об этом, ты обидишься, и все дело расстроится. Предоставь мне переговорить с Дженни. Мы обе девушки практические. А что касается мистера Бьюта, так я знаю все переделки, какие ты желал бы сделать в доме, и не стану слушать его глупых возражений. Этому молодому человеку только и надо, чтобы кто-нибудь указал ему, что делать, и затем оставили бы его в покое. И чем скорее мальчик-работник появится, тем лучше. Пусть себе говорит по-каковски хочет. Я от него потребую только, чтобы он чистил ножи, носил воду и колол дрова. В худшем случае я стану объясняться с ним пантомимами. А чтобы вести беседы, он может подождать, пока ты вернешься.

Вот суть того, что она говорила. Конечно, последовательность не вполне была такова, как я передал. По временам перебивал Робину, но она меня не слушала; она продолжала себе говорить и, в конце концов, предположила, как вещь само собою разумеющуюся, что я согласился с нею; да и времени у меня не было, чтобы все заводить с начала.

Она сказала, что мне некогда разговаривать, и что она обо всем будет писать мне, Дик тоже обещал обо всем извещать меня и прибавил, что в случае, если бы я вздумал прислать им корзину с закусками — можно заказать ее Фортюну и Мэзону; они составят ее великолепно для пикника на шесть человек. Не будет позабыто ни одной вещи: мне не о чем беспокоиться на этот счет.

Вероника, по моему желанию, проводила меня до конца аллеи. Я говорил с ней очень серьезно. Если бы она взлетела на воздух, она сама бы Убедилась, как нехорошо поступила.

Есть в одной книге история о непослушной девочке, которую забодал бык. Девочка, посланная с корзиночкой к больной тетке, могла как раз попасться по дороге быку. Это очень не кстати для него. Бедное животное должно потерять много времени на старательный обход, так, чтобы не опрокинуть корзинку. Если бы непослушная девочка была догадлива — чего в книгах не бывает — она воспользовалась бы, чтобы улепетнуть тем временем, пока бык ухитрялся пропустить мимо себя послушную девочку. Но злая девочка никогда не оглядывается; она идет напролом; и когда бык доходит до нее, она оказывается в самом подходящем положении, чтобы получить урок нравственности. Добрая девочка, каков бы ни был ее вес, благополучно перебирается по льду. Под дурной же девочкой, будь она даже значительно легче,

лед непременно подломится. «Не толкуй мне об относительном давлении на квадратный дюйм, — говорит с негодованием лед, — ты была недобра к своему братцу на позапрошлой неделе, — вот и пойдешь ко дну».

Оправдание Вероники, выраженное сдержанно и вежливо, сводились к следующему:

— Я, может быть, поступила так по незнанию. Может быть, собственно говоря, мое воспитание не имеет правильного направления. Мне почти до тошноты часто говорят о таких предметах, которые меня вовсе не интересуют и не имеют для меня никакого значения. А о вещах, которые мне следовало бы и было бы полезно знать, — вроде, например, пороха — меня оставляют в полном неведении. Но я никого не осуждаю: вероятно, каждый делал то, на что у него хватало ума. Ну, а если рассматривать чистоту желаний, честность намерений, то, повторяю, я выше упрека. Доказательство, что Провидение даровало мне знак своего одобрения: я не взлетела на воздух. Если бы мое поведение было достойно порицания, — как кое-кто намекал, — то шла ли бы я теперь рядом с тобой, цела и невредима, как говорится? На мне не тронут ни один волосок. Конечно, справедливое Провидение, т. е. если только можно сколько-нибудь верить детским книжкам, сочло бы своей обязанностью, по крайней мере, засыпать меня обвалившимися кирпичами. А вместо того, что мы видим? — Развалилась труба, рассыпалась плита, выбиты окна, поломаны вещи; и я одна, чудесным образом, пощажена. Я не хочу сказать ничего обидного, но, право, кажется, как будто вы трое — ты, мой милый папа, которому придется платить за ремонт; Дик, может быть, придающий слишком много значения вопросам о еде, которому теперь придется довольствоваться в продолжение нескольких дней консервами; Робина, вообще по характеру беспокойная, которая, пока все не устроится, наверное, будет ходить потеряв голову, как будто вы трое своим поведением, которое я не разбираю, заслужили кару Провидения. Как будто нравоучение относится к вам троим. Я — теперь это мне становится ясно — была не более как невинным орудием. Если признать правильным, что избегнуть порки значит быть добродетельным, такое рассуждение логично. Но я чувствовал, что, если оставить его без возражения, я могу навязать себе новые хлопоты. Поэтому я, сказал:

— Вероника, наступило время открыть тебе секрет: литература не всегда надежный руководитель в жизни.

— То есть как это? — спросила Вероника.

— То есть что автор книг, говоря вообще, необыкновенно

нравственный человек, — пояснил я. — Вот это-то и заставляет его заблуждаться: он слишком хорош для жизни. Она не соответствует его взглядам. Не такой мир создал бы он, если бы был его творцом. То было бы что-то совершенно иное. Ни капли не похожее на существующий. В мире, каков он должен был бы быть, ты, Вероника, наверное, взлетела бы на воздух — ну, если не совсем бы взлетела, то, по крайней мере, тебя бы хорошенько встряхнуло. Тебе только остается от всего сердца благодарить Небо за то, что мир несовершенен. Будь он таков, сомневаюсь, чтоб Вероника теперь шла рядом со мной. Ты цела и невредима — это ясное доказательство, что не все обстоит так, как должно бы быть. Бык на этом свете, чувствуя желание кого-нибудь боднуть, не стоит, так сказать, опустив рога, дожидаясь, пока мимо пойдет злая девочка. Он бросается на первого попавшегося ребенка, который подвернется, и очень доволен. Из ста случаев в девяноста девяти это оказывается самым умным ребенком на десять миль в окружности. Но быку все равно. Он искалечит образцового ребенка. При его настоящем настроении он бы бросился на епископа. Твой маленький друг, которому досталось, — ну если не ему, то, по крайней мере, его костюму… Кстати, кому из вас пришла мысль о порохе: тебе или ему?

Вероника заявила, что вдохновение осенило ее.

— Я легко верю этому. Ну, а ему хотелось украсть порох и бросить в огонь, или пришлось его убеждать?

Вероника созналась, что его нельзя было причислить к первоклассным героям. Только после того, как ему объявили, что он в душе, вероятно, трус из трусов, он согласился принять участие в предприятии.

— Очевидно, мальчик, который, предоставленный самому себе, составил бы общее утешение, — заключил я. — А история о разбойниках твое изобретение или его?

Вероника великодушно допустила, что эта сказка могла бы прийти ему в голову, если бы он в эту минуту не был весь поглощен мыслью добраться поскорей домой к матери. Одним словом, облегчение неинтересного и невиданного факта в романическую форму принадлежало Веронике.

— Вот он, стало быть, доброе дитя из рассказа. Это видно по всему. Его проступок только любезная уступчивость. Разве ты сама не видишь этого, Вероника? В книжке о половичок зацепился бы не он, а ты. В этом злом свете — злой торжествует. У добродетельного, ни в чем не повинного мальчика, платье в клочках. Ты, виновница всего, вышла суха из воды…

— Вижу, — вывела свое заключение Вероника, — что, если с человеком ничего не случится, значит этот человек дрянь.

— Я не иду так далеко, чтоб утверждать это, Вероника. Только я желал бы, чтоб ты не выражалась так резко. Дику это еще простительно — он мужчина. Ты же никогда не должна забывать, что ты «леди»… Справедливости на свете ждать нельзя. Иногда злой человек получает свою мзду. Но чаще не получает. Правила, по-видимому, не существует. Следуй голосу своей совести, Вероника, и плюй… Я хочу сказать, относись равнодушно к последствиям. Иной раз все сойдет благополучно, иной раз нет. Но при тебе всегда останется чудное ощущение: «Я поступила правильно. Дело приняло неблагоприятный оборот; но это не моя вина. Никто не может укорять меня».

— А между тем укоряют, — сказала Вероника. — Бранят, как будто я имела намерение сделать именно что-то нехорошее.

— Не обращай внимания на мнение света, Вероника, — указал я. — Хорошему человеку нет дела до него.

— А меня в наказание укладывают в постель, — настаивала на своем Вероника.

— Ну, пусть их, — утешал я. — Что такое постель, когда голос внутреннего руководителя утешает нас размышлением…

— Ну, нет, я не согласна, — возразила Вероника. — только пуще бесишься право.

— Этого не должно быть, — наставлял я.

— В таком случае, зачем же так поступать? — вопрошала Вероника. — Зачем делать чего не следует?

С детьми трудно приводить доводы, потому что и они приводят свои.

— Жизнь — трудная задача, Вероника, — заключил я. — Сознаю, что не все делается так, как бы следовало. Но отчаиваться не надо. Как-нибудь можно приспособиться.

— Да, однако, нелегко приходится нашему брату, — сказала Вероника. — Как ни старайся, всем не угодишь. И ведь только попробуй сделать по-своему…

— Обязанность взрослых направлять ребенка на путь, по которому он должен идти, — наставлял я. — Дело это не легкое, иногда случается при этом и посердиться.

— Да уж слишком часто это случается, — проворчала Вероника. — Бывает иногда, что, право, со всеми ними забудешь, как ходишь: на ногах или на голове.

— У них намерение хорошее, Вероника, — сказал я. — Когда я был мальчиком, я думал так же, как и ты. Но теперь…

— А ты всегда делал как все? — прервала Вероника.

— Я-то? Сколько помню, из рядов не выдавался. Если не в одном, то в другом.

— И тебя это не бесило? — допрашивала Вероника. — Когда

у тебя сначала добивались узнать, что ты можешь сказать, да зачем ты это сделал, а потом, когда ты пытался объяснить все, тебя не слушали?

— Что меня больше всего сердило, — сознался я, — у меня это осталось в памяти — так это как они целые полчаса толковали между собой, а потом, когда я намеревался одним словом направить их на путь истинный, обращались против меня и задавали мне трепку за то, что я смею «рассуждать».

— Если б только хотели выслушать, еще нашлась бы возможность заставить понять, в чем дело, — жаловалась Вероника. — Да куда тебе! Толкуют себе, сами, в конце концов, не зная о чем, и потом тебя же обвиняют, что устали из-за тебя.

— Знаю, это всегда так кончается, — согласился я. — Говорят: «Надоело толковать с тобой!» Как будто нам не надоело слушать их.

— А потом, если станешь думать, — продолжала Вероника, — тебе говорят, что «нечего думать!» А если ты не думаешь и случайно покажешь это, тогда укоряют: «Отчего же ты не думаешь?» Будто мы никогда не можем сделать того, что следует. Есть с чего прийти в отчаяние.

— А сами как будто всегда правы, — дополнил я. — Если случится разбить стакан, сейчас говорится: «Кто поставил стакан здесь?» Точно кто-то поставил его здесь нарочно и превратил в невидимку. Как можно требовать с таких людей, чтоб они видели стакан в шести дюймах от своего носа на том месте, где стакану и надлежало стоять. Послушать их, так можно подумать, что стакану вовсе не место на столе. Если мне случалось разбить его, по моему адресу кричали: «Ах, ты косолапый! Будешь обедать в детской». Если старшие засовывали куда-нибудь собственные вещи, всегда раздавалось: «Кто копался в моих вещах? Кто тут хозяйничал?» Наконец, когда вещь бывала найдена, с негодованием вопрошали, кто положил ее туда. Если случалось, что я не мог разыскать вещи по той простой причине, что кто-нибудь взял ее или перенес на другое место, то где бы ее ни спрятали, там ей и надлежало находиться, а я оказывался идиотом, что не знал того.

— И, конечно, приходилось молчать? — осведомилась Вероника. — Да! Если им случится сделать какую-нибудь глупость и укажешь им на нее, всегда найдется какая-нибудь непонятная для тебя причина. Непременно! А если сделаешь малейшую, самую пустячную ошибку — ведь это так естественно, — сейчас оказывается, что ты и злая, и глупая, и не хочешь исправиться.

— Знаешь, что, Вероника, мы сделаем? — сказал я. — Мы

напишем книгу. Ты мне будешь помогать. В ней дети будут умными и добрыми, никогда не будут ни в чем виноваты и станут надзирать над старшими и воспитывать их. Понимаешь? И все, что бы ни делали или чего бы не делали старшие, будет не так.

Вероника захлопала в ладоши.

— Да неужели? Ах, пожалуйста, напиши.

— Серьезно, напишу, — подтвердил я. — Мы назовем ее: «Нравоучительные рассказы для родителей». Все дети станут покупать эту книжку и дарить к рождению отцам и матерям и т. д., надписывая на заглавной странице: «От Джонни (или Дженни) папе (или дорогой тете) на память и пользу».

— Ты думаешь, они прочтут эту книжку? — с сомнением проговорила Вероника.

— Мы вставим в нее что-нибудь совсем не подходящее, и какая-нибудь газета напишет, что такие книги — позор для английской литературы, — предложил я. — А если и это не поможет, так мы скажем, что это перевод с русского. Там будет написано, что дети должны оставаться дома и заботиться об обеде, а взрослые пусть ходят в школу. Мы будем отправлять их туда с маленькими сумочками. Их заставят читать «Волшебные сказки» братьев Гримм по-немецки с примечаниями; заставим учить стихотворения наизусть и объяснять грамматику.

— И их будут рано укладывать спать, — добавила Вероника.

— В восемь часов они все будут у нас в постели и станут укладываться весело, будто это им нравится. Мы заставим их молиться. Между нами будь сказано, Вероника, мне думается, они не всегда это делают. И ни чтения в постели, ни стаканчика виски или тодди на сон грядущий — никаких подобных глупостей. Бисквит-Альбер, или, если они будут уж очень умны, карамелька, а затем: «Спокойной ночи», и извольте уткнуться в подушки. И никаких призывов, никаких жалоб, что «животик болит», никаких путешествий вниз в ночных сорочках, чтобы попросить водки. Знаем мы все эти хитрости!

— И лекарства они должны будут принимать? — вспомнила Вероника.

— Как только заметим, что они начинают хмуриться, что им не по себе — сейчас рыбий жир столовыми ложками.

— И мы будем спрашивать их, почему они все делают без смысла? — щебетала Вероника.

— В том-то и будет наше горе, Вероника, что они вовсе не имеют смысла или того, что мы называем так. Но, как-никак, мы должны быть справедливы. Мы всегда будем объяснять им причину, почему они должны делать то, чего им не хочется, и не могут делать ничего, что хочется.

Они не захотят понять этого и не сознаются, что так следует; но если они не глупы, они промолчат.

— И, конечно, им не позволено будет рассуждать? — продолжала Вероника.

— Если они станут отвечать, это покажет, что они одарены строптивым характером, это надо искоренить во что бы то ни стало, — соглашался я. — А если они не будут говорить ничего, это послужит доказательством, что у них наклонность к скрытности, и это также надо уничтожить сразу, прежде чем скрытность превратится в порок.

— И что бы мы с ними ни делали, мы станем говорить им, что все это для их же добра, — дополнила Вероника.

— Конечно, все это для их блага, — ответил я. — Нашим величайшим удовольствием будет сделать их хорошими и счастливыми. Если им это не доставит удовольствия, то только благодаря их неведению.

— Они нам будут благодарны впоследствии, — наставительно заметила Вероника.

— Мы будем по временам преподносить им это утешение. Вообще мы станем к ним снисходительны, будем позволять им играть в разные игры — не глупые, вроде гольфа или крокета: в них нет ничего хорошего, и они только ведут к болтовне и спорам; но в медведей, волков и китов. Воспитательные игры помогут им приобрести сведения по естественной истории.

Мы покажем им, как играть в «пиратов», «краснокожих» и «людоедов» — в умные игры, которые будут способствовать развитию в них воображения. Вот почему взрослые так скучны: их никогда не заставляют ни над чем задумываться. Однако иногда, ну, хоть по средам и субботам вечером, — продолжал я, — мы будем позволять им играть в игры по их выбору.

Мы станем приглашать других взрослых к ним на чашку чая и позволим им гулять в саду. Но, конечно, мы должны будем выбирать им друзей — воспитанных, благонравных леди и джентльменов, родителей почтенных детей; потому что, если представить их самим себе… ну, ведь ты сама знаешь, каковы они! — Сейчас заведут дружбу с каким-нибудь вовсе не подходящим субъектом, которого мы никоим образом не желали бы видеть у себя в доме.

Мы будем выбирать им товарищей, по нашему мнению, наиболее подходящих; а если это им придется не по нраву, — если, например, дядя Уильям заявит, что терпеть не может молодую леди, которую мы выбрали ему в подруги, мы скажем ему, что это только каприз, и он должен полюбить эту леди, потому что она подходит к нему, и мы просим его оставить

подобные глупости. А если бабушка станет ворчать и заявит, что не любит старого дядю Джона только потому, что у него красный нос, мы скажем ей: «И все-таки, миледи, вы будете играть с мистером Джоном и будете с ним любезны, или вам придется рано удалиться в свою комнату сегодня вечером. Запомните это».

Пусть они играют в «мужа и жену» (по вечерам в среду и субботу) и в «хозяйство». Если они станут ссориться, мы будем отнимать у них бэби и прятать их в шкаф до тех пор, пока они не исправятся.

— И чем больше они станут стараться, тем хуже будет выходить, — высказала свое соображение Вероника.

— Сделаются они хорошими или дурными, это в значительной степени будет зависеть от нас, Вероника, — объяснил я. — Когда бумаги на бирже падут, когда восточный ветер подействует на нашу печень, им придется удивляться на себя, как они дурны.

— И они никогда не должны забывать, что им было раз сказано, — прорицала Вероника. — Чтоб нам не приходилось бесконечное число раз повторять все одно и то же, точно мы говорим каменной стене.

— А если мы намеревались что-нибудь сказать им, да забыли, то мы скажем, что странно, как это им надо говорить подобные вещи, словно они какие несмысленочки. Все это нам следует помнить, когда будем писать книгу.

— А если они вздумают ворчать, мы скажем им, что они ворчат потому, что сами не знают, как они счастливы. И скажем им, какими мы были умницами, когда… Ах, папа, смотри, не пропусти поезд, а то мне опять достанется…

— Ах, бог мой! Я совсем и забыл о поезде.

— Беги скорей! — посоветовала Вероника. Совет казался хорошим.

— Дорогой продолжай думать о книге! — крикнула Вероника мне вдогонку.

— А ты записывай, что тебе придет в голову, — ответил я.

— Как мы ее назовем? — во все горло крикнула Вероника.

— «Почему человеку с луны все казалось навыворот», — ответил я ей тоже благим матом.

Обернувшись, я увидал, что она сидит на откосе полотна и одним из своих башмаков дирижирует воображаемым оркестром. Поезд шесть пятнадцать, к счастью, опоздал.

Я счел за лучшее рассказать жене всю правду: как наша печь пострадала.

— Скажи мне сразу все худшее, — стала меня убеждать Этельберта. — Вероника ранена?

— Худшее это то, что мне придется заплатить за новую плиту.

Мне кажется несправедливым, чтобы при каждом неприятном происшествии само собой подразумевалось участие в нем Вероники.

— Ты уверен, что она не пострадала? — продолжала допрашивать Этельберта.

— Ах, чтоб их, всех этих ребятишек и их шалости! Говорю тебе, ничего нет, — ответил я.

Мамочка успокоилась.

Я рассказал ей все наши приключения с коровой. — Участие жены оказалось, главным образом, на стороне коровы. Я сообщил ей, какие надежды начинает подавать Робина, что из нее выйдет дельная женщина.

Вообще мы много говорили о Робине и пришли к убеждению, что вырастили очень умную девушку.

— Мне надо вернуться как можно скорее, — сказал я. — Боюсь, как бы молодой Бьют не забрал себе в голову чего-нибудь неподходящего.

— Кто это Бьют?

— Архитектор, — объяснил я.

— Я думала, архитектор — старик, — сказала Этельберта.

— Да, Спрейт уж немолод, — объяснил я, — а Бьют — один из его молодых помощников; но он, по-видимому, знает свое дело и не глуп.

— Вообще каков он? — спросила Этельберта.

— Очень симпатичный молодой человек и толковый. Я люблю молодых людей, умеющих слушать.

— Красив? — спросила она.

— Не красавец, — ответил я. — Но лицо приятно, особенно когда он улыбается.

— Женат? — продолжала свой допрос Этельберта.

— Вот уж правду сказать, не пришло мне в голову справиться, — сознался я… — Какие вы, женщины, любопытные! Нет, думаю, не женат. Предполагаю, что не женат.

— Почему? — допрашивала она.

— Да, право, не знаю. Не похож на женатого. Он тебе понравится. Он, по-видимому, сильно любит сестру.

— Нам часто придется видаться с ним? — спросила она.

— Думаю, что частенько. Полагаю, что он приедет в понедельник. Скучная это история с печкой…

— Какая польза, если он приедет без тебя?

— Осмотрит все и измерит, — высказал я свое предположение. — Дик может ему объяснить. А если не он, так —

Робина. Только удивительно: она почему-то невзлюбила его.

— За что невзлюбила? — насторожилась Этельберта.

— За то, что он ошибся, приняв задний фасад за передний, или передний за задний — уж теперь не припомню, — объяснил я. — Она говорит, что его улыбка раздражает ее.

— Ты когда опять собираешься туда? — спросила Этельберта.

— В четверг, — ответил я, — все равно, будет ли готова плита или нет.

Она сказала, что также поедет со мной. Перемена воздуха будет полезна для нее, и она обещала ничего не делать, попав в деревню. Затем я рассказал все, что предпринял для Дика.

— Обыкновенный сельский хозяин часто представляет из себя человека, ни о чем не имеющего понятия. Если он хозяйничает успешно, то причину тому надо искать в инстинкте, которому нельзя обучить.

Сен-Леонар изучил теорию хозяйства. Дик выучится от него всему, что должно знать о сельском хозяйстве. Например, я слышал, что подбор требует серьезного знания.

— Но заинтересуется ли этим Дик? — с сомнением спросила Этельберта.

— Вот поэтому-то выбор и требовал особой осмотрительности. Старик — само собой разумеется, он вовсе не старик, разве немного старше меня, и, право, не знаю, почему его называют «стариком» — составил себе высокое понятие о Дике. Его дочь сказала мне это, и я постарался довести это до Дика. Мальчик не захочет разочаровывать его. Мать ее…

— Чья мать? — перебила меня Этельберта.

— Мать Дженни. Мисс Сен-Леонар, — объяснил я. — Он и ей также понравился. И детям тоже. Так мне сказала Дженни.

— По-видимому, порядочная болтушка эта мисс Дженни, — заметила Этельберта.

— Увидишь сама, — ответил я. — Мать, по-видимому, ничтожество, а сам Сен-Леонар…. да, он человек не деловой, Дженни всем заведует… всем руководит.

— Какова она? — спросила Этельберта.

— Я же говорю тебе — очень практическая, а между тем по временам…

— Я говорю: какова по наружности? — объяснила жена.

— Как много вы, женщины, обращаете внимание на внешность, — заметил я. — Разве это так важно? Если хочешь знать, то это у нее такое лицо, какого не забудешь. Сначала и не замечаешь, как она прекрасна, а вглядевшись…

— И она составила себе высокое мнение о Дике? — перебила меня Этельберта.

— Она разочаруется в нем со временем, — сказал я. — Если он не станет усердно работать, они все в нем разочаруются.

— Какое дело до их мнения о нем? — спросила жена.

— Я не думаю о них, — отвечал я. — Для меня важно…

— Мне они не нравятся, — сказала Этельберта. — Все, сколько их есть, не нравятся.

— Но ведь…

Она, по-видимому, не слушала меня.

— Я знаю подобных людей, — сказала она, — и хуже всех, по-видимому, жена. Что же касается девицы…

— Когда ты познакомишься с ними… — начал было я. Она заявила, что и знакомиться не намеревается.

Затем она объявила, что желает ехать на дачу в понедельник утром.

Я постарался объяснить ей — на что потребовалось немало времени — все неудобство подобного решения. Мы только прибавим хлопот Робине, и изменить теперь свой план значило окончательно сбить с толка Дика.

— Он обещал писать мне, — сказал я, — и хотел сообщить результат первого дня своих занятий. Подождем и послушаем, что он скажет.

Она возразила, что для нее представляется совершенной тайной, почему мне вздумалось отнять у нее несчастных детей и все подстроить тайком от нее. Она выразила надежду, что, по крайней мере, относительно Вероники я не предпринял ничего непоправимого.

— Вероника, по-видимому, действительно стремится исправиться, — заметил я. — Я купил ей осла.

— Что? — переспросила Этельберта.

— Осла, — повторил я. — Он ей очень понравился, и мы все решили, что, может быть, получив его, она станет положительнее… Сознает за собой ответственность…

— Я чувствовала, что за Вероникой не будет настоящего надзора, — сказала Этельберта.

Я счел за лучшее переменить разговор. Жена казалась не в духе.

VIII

Письмо Робины было помечено вечером понедельника и было подано нам во вторник утром.

«Я надеюсь, что ты попал на поезд, — писала она. — Вероника вернулась около половины шестого. Она сообщила мне, что ты о многом беседовал с ней, и что один предмет приводит к другому.

Она еще молодой тонкий побег; но я думаю, что твои беседы принесут ей пользу. В настоящую минуту она держит себя в отношении всех нас с благовоспитанной кротостью и не без чувства собственного достоинства. Она ни разу не хохотала, и это по временам бывает полезно. Я дала ей пустой дневник, который мы нашли в твоей конторке, и большую часть своего свободного времени она проводит в том, что запирается с ним в своей спальне. Она рассказывала мне, что ты и она вместе собираетесь написать книгу. Я спросила, что это за книга. Она взволновалась и стала уверять меня, что я «узнаю все», когда придет время, и что это поведет к добру. Я перехитрила ее и прочла прошлой ночью заглавный лист. Он лежал открытым на туалетном столе: «Почему человеку с луны все кажется в превратном виде». Это похоже на одно из заглавий твоих книг; но я не хочу заглядывать вперед, хотя бы мне и было очень интересно. Она нарисовала внизу картинку, которая действительно недурна. Немолодой сидящий господин действительно смотрит с луны, и, видимо, все, что он видит, сильно ему не нравится.

Сэр Роберт — его имя Теодор, и оно подходит к нему — оказался единственным сыном вдовы, миссис Фой, нашей ближайшей соседки с юга. Мы встретились с ней в воскресенье утром в церкви. Она все еще плакала. Дик пошел с Вероникой вперед, а я прошла часть дороги по направлению к дому с ней.

Выяснилось, что ее дедушка был убит много лет тому назад при взрыве парового котла, и бедную леди преследует убеждение, что Теодора ждет такая же участь. Она не винила никого, считая субботнюю катастрофу злым роком, тяготеющим над семьей. Я старалась утешить ее мыслью, что рок как бы исполнился при пустячном происшествии и ей уже нечего бояться. Но она продолжает упорствовать в том мрачном взгляде, что при разрушении нашей кухни рок сыграл для Теодора — как она выразилась — вроде репетиции в костюмах, а окончательное представление может следовать за ней. Кажется странным, но бедная женщина приходила в такое отчаяние, что когда какой-то

мальчишка, выйдя из коттеджа, мимо которого мы проходили, поскользнулся на пороге и уронил кружку, мы обе вскрикнули в одно время. Но вместе с тем мы были справедливо удивлены, увидав, что «сэр Роберт» совершенно спокойно сопровождает нас, цел и невредим.

Я находила неподходящим вести все эти разговоры пред ребенком, но невозможно было остановить ее; и в результате он, вероятно, видит в себе избранного врага неба и начинает необычайно гордиться. Мать заходила к нам в понедельник после полудня. По ее просьбе я показала ей кухню и циновку, о которую Теди споткнулся. Она казалась пораженной, что «рок» пропустил такой благоприятный случай исполнить свой долг, и почерпнула из этого заключения новый повод для своего беспокойства. «Очевидно, что для мастера Теодора имеется в запасе еще кое-что». Она сказала мне, что он достал только полфунта пороха, который купил садовник доктора Смолбайда для того, чтобы взорвать пень старого илима. Садовник оставил порох с минуту на траве, в то время как возвратился в дом за толстой бумагой. Мать, казалось, благоволила к садовнику, который, как она говорила, мог бы, если бы захотел, заставить ее заплатить за целый фунт. Я хотела, во всяком случае, заплатить нашу часть, но она не пожелала взять ни одного пенни.

Она считала ответственным во всем инциденте своего покойного оплакиваемого дедушку и, может быть, лучше не разубеждать ее. Если бы я попыталась сделать это, я уверена, что она пожелала бы построить нам новую плиту.

Сильно преувеличенные рассказы о событии распространились в соседних местностях; и более всего я боюсь, как бы Вероника не вообразила себя местной знаменитостью. Твое внезапное исчезновение рассматривается как путешествие на небеса. Один старый рабочий на ферме, видевший, как вы проходили по дороге на станцию, говорил о тебе как о «привидении бедного господина»; кусок одежды, найденный неизвестно где, в двух милях от нас, сохраняется — мне говорили это, — как единственное оставшееся от тебя. Сапоги, по-видимому, считают главной частью твоей одежды; уже было собрано шесть пар в окрестных канавах. Между здешней интеллигентной публикой идет разговор о том, чтобы с тебя начать составление местного музея».

Эти два первых отдела я не читал Этельберте. По счастью, они были написаны на первом листке, который я сумел незаметно сунуть в карман.

«Новый мальчик-работник прибыл в воскресенье утром, — продолжала Робина. — Его имя — если я его правильно поняла, — Уильям. Во всяком случае, оно ближе всего подходит к тому, что я слышала. Его другое имя, если оно у него имеется, предоставляю вытянуть из него тебе самому.

Он, может быть, говорит по-беркширски, но выходит гораздо более похоже на лай. Пожалуйста, извини за сравнение; но я разговаривала с ним полчаса, чтобы заставить его понять, что он должен идти домой, и возможно, что в результате я чувствую себя немного нервной. Большей деревенщины я не могу себе представить; но он стремится учиться, и пред ним обширное поле для того.

Я застала его после нашего воскресного завтрака спокойно сбрасывающим все остатки как попало в сор. Я указала ему, как нечестиво уничтожать питательную пищу, и что настоящее место для нее внутри нас.

Он ничего не ответил на это. Он стоял совершенно неподвижно, со ртом, открытым во всю ширину, — а это немало значит — и казалось, что он поглощает слова.

Все воскресенье после обеда он жестоко боролся со сверхъестественной сонливостью.

После чая стало того хуже, и я подумала, что мне от него не будет никакой пользы.

Мы все мало ели за ужином. И Дик, который, кажется, способен понимать его, помог убрать ему посуду. Я слышала, как они разговаривали, а затем Дик вернулся и запер за ним дверь. «Он хотел знать, — сказал Дик, — можно ли оставить солонину до завтрашнего утра, потому что если он съест ее сегодня, то не будет в состоянии дойти до дому».

Вероника очень интересуется им. В ее характере, очевидно, есть материнская жилка, чему бы никто из нас не поверил. Она выражает уверенность, что в нем есть кое-что хорошее.

Она садится возле него, когда он колет дрова, рассказывает ему интересные истории, болтает, рассуждает, развивает его ум.

Она старается, сверх того, не оскорблять его чувств нескромным любопытством.

«Без сомнения, при такой рабочей жизни, как ваша, — слышала я, как она говорила ему сегодня утром, — очень естественно, что остается мало время на чтение. Я хотела бы вам читать вслух, и таким образом совершенствовалась бы также сама».

Осел прибыл сегодня галопом, после обеда, когда я была в саду, Гопкинс сидел на его спине. Кажется, что между этими двумя существует какое-то тайное соглашение. Мы пытались

угощать его и сеном и чертополохом, но он, по-видимому, предпочитает хлеб с маслом. До сих пор я еще не могла определить, пьет ли он по утрам чай или кофе. Но, очевидно, это — животное, имеющее свои привычки; к счастью, тот и другой напиток найдется в доме. Мы ставим его на ночь с коровой, которая приветствовала его сначала с энтузиазмом, как родного, но затем стала холодна к нему, когда открыла, что он не теленок. Я старалась подружиться с ней, но она не очень отзывчива. Ей, кажется, не надо ничего больше, кроме травы и лугов, чтобы пастись. Она, по-видимому, не желает дальнейшего счастья.

Забавное происшествие случилось в церкви. Я забыла рассказать тебе. Сен-Леонары занимают две скамьи от двери. Они были все в сборе, когда мы пришли, за исключением самого старого джентльмена.

Он вошел как раз пред отпуском, когда все уже встали. Заглушаемое хихиканье последовало за ним до его места, а многие из присутствовавших засмеялись громко. Я не могла понять причины.

Он имел вид такого почтенного пожилого джентльмена, со своими седыми волосами, в туго стянутом сюртуке, который придавал ему несколько военный вид. Но когда он поравнялся с нашей скамьей, я поняла.

Торопясь домой со своего утреннего обхода по хозяйству и не имея никого, кто бы приглядел за ним, милый старик по рассеянности забыл переменить свои рейтузы.

От колен до верху это был настоящий набожный христианин, но что касается ног, то это были ноги постыдного грешника.

— Что такое? — прошептал он, проходя мимо меня. Как раз я сидела на краю.

— В чем я промахнулся?

— Мы поговорим об этом после завтрака, — ответила я и тотчас же получила похвалу за свое решение.

— Вот благоразумная простая девушка, — воскликнул старик, когда я вошла в комнату.

Заметьте, что я не ставлю кавычек после слова «простая». Полагаю, что он не делал ударения на этом слове. Вы можете заменить его другим прилагательным: не так ли?

Но я предлагаю вопрос: не все ли равно Всемогущему, в какой одежде я прихожу в церковь? В длинных или коротких штанах?

— Я не вижу, — возразила мисс Сен-Леонар довольно холодно, — чтобы мисс Робина имела больше меня права говорить с уверенностью о воле Создателя.

Это замечание, по-моему, было справедливо. Она продолжала:

— Если для Всемогущего это безразлично, то почему не носить длинных штанов? — продолжала она. — Прежде всего, надо иметь сердце сокрушенное.

Он казался очень недоволен.

— Лучше одеваться прилично, — заметила жена и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Дженни все более и более мне нравится.

Я надеюсь, что мы будем с ней добрыми товарищами».

Это место я прочитал дважды Этельберте, под предлогом, что потерял строчку.

«Я думаю, что из нее вышла такая дельная девушка только потому, что мать у нее взбалмошная и отец совершенно непрактичный. Если бы ты и мама были бы родителями в этом роде, из меня бы тоже вышла порядочная девушка.

Но теперь поздно вас обвинять.

Я должна с вами помириться.

Она работает без устали и не думает о себе.

Она не похожа также на некоторых добрых людей, которые дают вам чувствовать бесполезность ваших стараний совершенствоваться.

Она иногда сердится и бывает нетерпелива, но затем сама над собой смеется, заглаживая таким образом свои ошибки. Бедная м-с Сен-Леонар, ее нельзя не жалеть!

Она могла быть так счастлива, сделавшись женою почетного коммерсанта с цветком в петлице и в белом костюме по воскресеньям.

Я не верю, когда говорят, что муж и жена должны иметь противоположные характеры.

Мистер Сен-Леонар должен был жениться на умной женщине, способной вести с ним беседы о философии и в жизни довольствоваться малым. Вы понимаете, о ком я говорю? Если я когда-нибудь выйду замуж, то не иначе как за человека нрава вспыльчивого, который любит музыку и хорошо танцует. Если я замечу позднее, что он ученый, я от него убегу.

Дик еще не возвращался, хотя уже восемь часов. Вероника собирается спать, но в ее комнате я еще слышу стук падающих вещей. Бедняга! Он, наверное, очень устал, но сегодня день исключительный. Из Аила пригнали триста баранов, их надо было «разместить» прежде, чем подумать об ужине. Я заранее позаботилась о том, чтоб его получше накормить.

Теперь будем говорить о деле.

Молодой Бьют пробыл здесь целый день и только что уехал.

Он вернется в пятницу в «приемный день миссис Сен-Леонар». Она надеется иметь удовольствие с вами познакомиться и ожидает в этот день две или три семьи, с которыми нам интересно повидаться. Из этого я заключаю, что большинство соседей приглашены. Ты должен привезти фрак; если мамочка пожелает надеть мое розовое муслиновое платье с крапинками, которое лежит или в шкафу, или в комоде у Вероники, или в картоне под кроватью, — вы можете уложить его в мешок.

Лишь бы не измять. Пояс, я уверена, мамочка убрала в какое-нибудь другое место.

Возвращаюсь к молодому Бьюту. Он не видит причин, — если вы одобряете его план — почему бы не приступить к работам сейчас же. Должна ли я написать старому Сли, чтоб он приехал к нам в пятницу? По общему мнению, вы не можете сделать лучшего выбора. Он на месте, и его условия очень умеренные. Но вы должны вместе составить смету, не так ли? Он, то есть Бьют, советует соединить молочную с коридором, что составит помещение или зал достаточных размеров для чего бы то ни было. Он думает, что в нем можно будет даже устроить бал. Но обо всем этом ты можешь переговорить с ним в пятницу. Он, конечно, очень старается, и некоторые из его предложений оказываются толковыми. Он, естественно, вполне понял, что самое важное исполнять наши желания, а не его предположения. Я передала ему твое мнение о том, что я могу устроить мою комнату по своему желанию, и высказала ему свой взгляд. Сперва он, очевидно, вообразил, что я сама не знаю, чего хочу, и для того, чтобы он понял и согласился выполнить мои поручения, я должна была изложить их письменно; в этом я не видела ничего предосудительного, так как этим можно будет устранить дальнейшие недоразумения. Он мне нравится больше, чем прежде. Он весьма любезен.

Но он меня сердит, когда начинает говорить о «сооружениях фасада», и «основном плане». Скажи мамочке, что я буду писать ей завтра. Не приедет ли она с тобой в пятницу? Все будет на месте к этому времени, и…»

Остальное было более интимного свойства, Робина заключала письмо постскриптумом, который я тоже не прочел Этельберте.

«Только что я кончила свой доклад, как послышался очень характерный звук, вроде как бы когда мышь скребется у двери.

Положив на вид старую соломенную шляпу Дика и громко приказав воображаемому Джону не уходить без писем, я отворила

дверь. Это оказался местный корреспондент. Нечего было пугаться. Из нас обоих он был наиболее смущен и так долго извинялся, что, если бы я не пришла ему на помощь, он бы ушел, позабыв о причине посещения. Не что иное, как всепоглощающее чувство долга перед Обществом (с большой буквы), могло побудить его посетить меня. Не согласна ли я дать ему некоторые подробности, чтобы восстановить истину? Мне тотчас же представились громкие заглавия: «Семейная драма», «Знаменитый писатель, погибший от руки своей собственной дочери», «Разорение домашнего очага». Мне показалось, что лучше всего завербовать этого любезного молодого человека на нашу сторону.

Надеюсь, что мои старания не были тщетны. Я решила сообщить мое впечатление и с первого взгляда угадала в нем лучшего и благороднейшего из людей; я поняла, что могу положиться на его ум и твердость для того, чтобы спасти нас от огласки, которая, по моему понятию, омрачили бы всю мою жизнь; если он так поступит, моя вечная признательность и уважение послужат ему наградой. Я умею быть любезной, когда желаю. Все с этим согласны. Мы расстались, пожав друг другу руку, и я надеюсь, что он не посетует, но предвижу, что «Беркширский курьер» лишится своей добычи.

Дик только что вернулся и обещает рассказать все после обеда».

Письмо Дика, которое Этельберте так хотелось прочесть скорее, пришло к нам в среду утром.

«Если ты желаешь узнать, папа, что такое, в сущности, тяжелая работа, займись земледелием, — писал Дик, — и, несмотря на это, я думаю, тебе оно бы понравилось. Но разве старый Джон не называет земледелие поэзией плуга? Отчего мы вечно хлопочем о пустяках, запираемся в душных конторах, мучаясь до самой смерти по поводу разных пустяков ни для кого не нужных. Я бы желал это выразить как можно яснее, чтобы ты меня вполне понял. Ты увидишь, что я подразумеваю. Отчего мы не живем в простых домах и не получаем все нужное от земли; это нам было бы нетрудно? Мы отбиваем бедняков от земледелия и посылаем их в шахты или заставляем их бегать взад и вперед полунагими среди раскаленных очагов, и таким образом они превращаются в машины, исполняющие механический труд. Какой смысл всего этого? Конечно, некоторые вещи полезны. Я бы, например, желал иметь автомобиль, а пароходы и железные дороги тоже вещи хорошие. Но мне кажется, что мы могли бы

обойтись без побрякушек, которые считаем необходимыми, и таким образом сберечь время и силы для вещей необходимых. Везде происходит то же самое, что и в школе. Там нас заставляют зубрить греческие корни, и у нас еле хватает времени на изучение английской грамматики. Посмотрите на молодого Денниса Юбери. Он владеет двумя тысячами акров в Шотландии. Он мог бы вести приятную жизнь, хозяйничая в имении с истинной пользой. Вместо этого он все забросил до разорения и только разводит там несколько сот птиц, которые с трудом могли бы поддержать одну семью; в то же время он работает с утра до ночи в убийственной конторе в Сити, обманывая людей, для того чтобы наполнять свой дом толпой глупых, нарядных болтунов и наряжать себя и свою семью вроде павлинов.

Конечно, мы всегда будем нуждаться в умных людях, способных рассказывать сказки; нам нужны будут доктора, без них мы бы не могли обойтись, хотя можно предположить, что при правильной жизни мы бы могли прекрасно существовать, сократив их число наполовину. Мне кажется, что нам только надо удобный дом, довольно пищи и питья и кое-какие наряды для молодых девушек, а все остальное лишнее.

Мы все желали бы иметь время думать и развлекаться, и если бы мы все охотно работали над чем-нибудь действительно полезным и были бы довольны своей долей, то хватило бы на всех. Возможно, что все это вздор, но, надеюсь, есть и доля правды. Как бы то ни было, я намерен сам поступить таким образом и очень обязан тебе, что ты даешь мне эту возможность.

Ты верно угадал на этот раз. Сельское хозяйство было именно то, о чем я мечтал. Я чувствую это и ненавижу профессию адвоката, сводящего насильно людей и живущего на счет несчастий других. Оставаясь землевладельцами, обрабатывая свои земли, чувствуешь, что полезен и себе и другим. Мисс Дженни согласна с этим. Я нахожу, что она одна из самых чутких молодых девушек, которых мне приходилось встречать. Робина ее также очень любит. Также и старика. Это кремень! Мне кажется, он меня полюбил, а я его. Он премилый старик! Он так нежно смотрит на репы в огороде, как будто перед ним ряд маленьких детей. И он заставляет человека вглядываться в сущность вещей. Вот, например, поля. Я всегда думал, что поле, и только поле. Его надо вспахать и засеять зерном, а все другое зависит от погоды. Но, папа, поле живет. Есть хорошие поля, которые стремятся воздать сторицей. Они благодарны за все, что для них делают, и гордятся сами собой. Есть негодные поля, которые хотелось бы растоптать. Вы можете потратить сто фунтов на их удобрение, а они только делаются хуже прежнего. Одно из наших полей,

полоса в одиннадцать акров, окаймляющая дорогу в Файфидд, получило от него прозвище Госпожи Недотроги, и оно как будто чувствительнее других полей. С какой стороны ни подул бы ветер, это поле более всех других страдает от этого. Смотря на него после дождя, можно подумать, что нигде на других полях не было дождя, а что этому достался весь ливень.

Двухдневная жара имеет то же влияние на него, как на другие поля двухнедельная засуха. Теория Сен-Леонара, — он имеет теорию для объяснения чего бы то ни было; это утешает его… Он только что открыл теорию, объясняющую, почему первородный грех близнецов тяжелее греха обыкновенных детей. — Так вот его теория такова, что каждый заброшенный уголок земли имеет свой собственный характер, заимствованный им от бесчисленных душ умерших, погребенных в его недрах. «Разбойники и воры, — говорит он, отшвыривая на ином поле ногой камни и репейники, — безумно борющиеся люди, которые воображают, что земля создана для того, чтобы ей можно было распоряжаться произвольно. Посмотрите на этих безумцев! Камни и репейники, репейники и камни, таково их понятие о поле!» Или, опираясь на решетку, окружающую поле с богатой почвой, он простирает руки, как будто хочет поласкать его. «Добрые молодцы, честные труженики, — говорит он, — они любят бедных крестьян». Мне кажется, что у него остроумия немного или если оно у него есть, то он предоставляет вам разыскать его в нем. Слушая его фантастические мысли, вовсе не чувствуешь желания смеяться; во всяком случае несомненно, что из двух полей, лежащих друг против друга, одно ценится в десять фунтов за десятину, а другое в полкроны, и это кажется вполне понятно. У нас есть участок в семь акров на холме. Сен-Леонар говорит, что мимо него он никогда не проходит, не снимая шляпы: что бы вы там ни посеяли, все удается, тогда как на других полях, делайте с ними что хотите, всегда оказывается, что они в этом не нуждались. Их можно сравнить с капризными детьми, которые постоянно требуют лакомства у других детей. Однако нет никакой причины, почему это поле лучше других, если не объяснять это его доброй волей. Это поле расположено на восток, и лес скрывает от него солнце на полдня, но оно изо всего извлекает пользу и даже в самый пасмурный день как будто вам улыбается.

«Здесь, должно быть, покоится, — говорит «Сен-Леонар, — какая-нибудь добрая мать, воспевавшая любовь во время работы». Кстати, какое красивое поле могла бы создать Дженни! Не согласен ли ты со мной, папа? Что ты сделал с Вероникой? Она повсюду ходит с книгой, и когда с ней заговаривают, вместо

ответа садится и принимается писать, не объясняя в чем дело. Она говорит, что это частное дело между тобой и ею, и что позднее вещи объяснятся в своем настоящем свете. Я сделал ей нынче выговор за то, что она забыла накормить осла. Я, конечно, приготовился слышать сотни объяснений, во-первых, что она намеревалась кормить осла; во-вторых, что это не ее дело; в-третьих, что осел был бы накормлен, если бы этому не помешали непредвиденные обстоятельства; в-четвертых, что никогда утром не следует кормить его… Вместо этого она показывает мне смешную книгу, спрашивая меня, не желаю ли я ее прочитать?

Я все позабываю спросить Дженни, какой корм надо ему давать?

Мы пробовали его кормить репейником и предлагали ему сена, он трется о репейник, а с сеном как будто не знает что делать.

Робина думает, что он хочет избавить нас от хлопот.

Мы не должны ничего специально припасать для него, он согласен на то, что у нас найдется; например, бутерброд или ломтик сладкого пирога ему нравятся для завтрака.

Что касается питья, то он предпочитает пить из полоскательницы чай с двумя кусками сахара и большим количеством молока.

Робина уверяет, что напрасно тратит время, подавая ему еду на двор; она хочет его приучить входить в дом, когда раздается удар гонга.

Теперь вместо гонга у нас будильник. Я не знаю, что я буду делать, когда у нас уведут корову.

Она меня будит каждое утро ровно в половине пятого, но я ужасно боюсь, чтобы она на этих днях не проспала.

Часы с будильником у нас вроде тех, о которых пишут.

Ты, кажется, сам писал что-то смешное о часах, но я всегда думал, что ты это все сочинил.

Я купил эти часы, так как меня уверяли, что они очень громко бьют. Это правда; в них неприятно только то, что они никогда не бьют раньше шести часов утра.

В воскресенье вечером я их поставил на половине пятого.

Нам, хозяевам, приходится рано вставать. И стоит того! Я никогда не воображал, что мир так прекрасен. Утром является особое освещение, незаметное в другое время, и в воздухе носятся какие-то звуки.

Чувствуешь… Но ты должен сам как-нибудь встать пораньше и выйти со мной в поле.

Я не могу всего описать. Если бы не наша добрая корова, я сам не знаю, когда бы встал. Часы начали звонить в половине

пятого после обеда, как раз в ту минуту, как мы принимались за чай, и нас всех ужасно перепугали. Мы возились с ними очень долго, но ничего нельзя сделать с ними между шестью вечера и шестью утра.

Днем они на все согласны: как будто назначили свои рабочие часы и отказываются изменить порядок; я с ними дошел до бешенства, хотел их выбросить в окно, но Робина думает, что лучше их оставить до твоего приезда, когда ты, быть может, что-нибудь придумаешь… Например, напишешь что-нибудь о них.

Я думал, что будильники теперь достаточно усовершенствованы, но она говорит, что всегда возникает новое поколение, которое требует чего-нибудь нового.

Однако цена их довольно высока: шесть шиллингов и шесть пенсов, а мне кажется, что они ровно ничего не стоят.

Я бы желал знать, что такое ты сказал насчет ее комнаты?

Молодой Бьют явился ко мне в понедельник в сильном волнении.

Он говорит, что эта комната будет вся состоять из окон, вроде Эдинстоновского маяка, и для кровати места не найдется; при этом камин окажется на месте комода, и в комнату нельзя будет проникать иначе, как через ванную.

Робина говорит, что ты позволил устроить комнату по ее желанию, и Бьюту остается только исполнять ее приказания.

Но он указывает на то, что нельзя устраивать комнату для себя, не заботясь об общем плане.

Никому, как видно, нельзя будет пользоваться ванной, не предупредив об этом Робину и не сговорившись заранее.

Я уверял его, что ты от него не будешь требовать вещей невыполнимых.

Но лучше всего с ней переговорить вторично, объяснить ей, что она говорила как глупая коза (конечно, он должен выразиться учтивее), и что он останется при своем плане.

Можно было подумать, что я его посылаю в львиную пещеру дразнить львов. Не знаю, что сделала Робина, но он ее боится.

Я ему обещал с ней переговорить, однако лучше, если он сам с ней объяснится. Я только что передал ей его слова, как она пустилась в длинные объяснения.

Ты знаешь ее манеру говорить.

Если ей приятно жить в светлой комнате, в которой можно расчесывать волосы, это не его дело. Если он не в состоянии устроить простую комнату, не делая ее смешной в глазах соседей, то королевская школа английских архитекторов имеет неверное понятие о людях, которым поручаются постройки в этой местности.

Если, по его мнению, место камину в шкафу, то она с ним не согласна. Он должен исполнять требования заказчиков.

Если он воображает, что она может оставаться утром в своей комнате, пока все не возьмут ванну, то лучше бы было тебе обратиться к человеку, обладающему хотя долей здравого смысла.

При встрече с ним она ему выскажет все, что о нем думает, отказываясь от дальнейших переговоров.

Ей больше не нужно никакой спальни. Она может поместиться в кладовой или отдыхать по временам у Вероники. Это ей безразлично.

Тебе надо переговорить с нею лично. Я больше говорить не стану.

Не забудь, что пятница приемный день у Леонаров. Я обещал Дженни, что вы явитесь в парадных туалетах. (Не говори ей, что я зову ее Дженни, она может этим обидеться. Но никто ее не называет мисс Сен-Леонар).

Все приедут; детям заранее вымыли волосы. Здесь за вами будут все ухаживать. Никакой другой знаменитости нет до Босс-Крокера.

Артисты не принимаются в расчет. Недавно разнесся слух, что ты сюда являлся инкогнито под видом «печального Джонни», жившего в «приюте Рыбака» и проводившего весь день в лодке с бутылкой виски.

Я пришел в ужас, увидав его. Эта мысль у них, вероятно, явилась, когда они увидали виски.

У них сложилось понятие о литераторе как о вдохновенном бродяге.

Одна дама, миссис Джагерсведи, которую я встретил в воскресенье (она тоже будет в пятницу), отведя меня в сторону, таинственно спросила: «О чем он (подразумевая тебя) обыкновенно говорит?»

Она выражала уверенность, что все сказанное тобою будет замечательно умно, и с нетерпением ожидает твоего приезда, спрашивая, можно ли привезти детей.

Повторяю, тебе придется поговорить серьезно с Вероникой. Жизнь в деревне ей, очевидно, нравится. Она принялась за охоту вместе с близнецами.

Они пока воздерживались от этого греха, и старик этим гордился.

К счастью, я встретил их на дороге. Они возвращались с охоты. Близнецы несли десять убитых кроликов, привязанных на шесте, напоминая, таким образом, известную картину «Возвращение соглядатаев с гроздями винограда из Земли

обетованной».

Вероника шла впереди, прикладывая ухо к земле через каждые десять шагов, чтоб слышать приближение врагов. Она очень удивилась, что не заметила моего прихода, объясняя это неожиданным переворотом в законах мироздания.

Найдя целую коллекцию кроликов, висевших на дереве, они объясняли, что это им посылает Провидение. Я просил их вернуться и указать мне это дерево, что они исполнили неохотно.

К счастью, сторожа не было, иначе он бы поднял шум из-за пустяков.

Я привел ей несколько прекрасных нравственных изречений, но она уверяет, что, по твоему мнению, совершенно безразлично, поступает ли человек хорошо или дурно; так как все идет по заранее предопределенному плану. Если это так, то почему бы и ей не делать того, что ей нравится. На мой вопрос, почему ей добрые поступки, кажется, никогда не доставляют удовольствия — что касается меня, если б мне пришлось заняться воспитанием козленка, я бы сам стал образцовым человеком — она отвечала, что себя она считает злой от рождения.

Я ей объяснил, что это замечание касается тебя и мамы. На это она ответила, что считает себя также неудачной.

Старый Сли достал себе собачку, неудавшегося терьера, и, кажется, он это ей объяснил.

Что тебя неприятно поразит в этой местности, папа, это жестокость жителей к животным. Они расставляют западни для маленьких зверьков, заставляя их страдать целыми днями, не говоря уж о страхе и о голоде.

Я пробовал просунуть палец в одну из этих ловушек и продержать его там минуты две. Боль все усиливалась с каждой минутой, казавшейся мне более двадцати, а я не неженка, как ты знаешь.

Мне не было так больно, когда я лежал со сломанной ногой.

Иногда слышны их крики, но описать их нельзя. Они умолкают при приближении людей. Вот почему многие не любят деревенских жителей.

Они так грубы. Если им сделать замечание, они скалят зубы.

Дженни приходит в бешенство от этого. Миссис Сен-Леонар просит пастора упомянуть об этом с кафедры, но он того мнения, что церковь должна ограничиваться исполнением своей собственной великой «миссии». Осел!

Привози с собой маму; мы ждем ее в пятницу. Посоветуй ей принарядиться. Напомни ей о лиловом платье с кружевами, которое на ней было в Кембридже на майском празднике, в позапрошлом году. Пусть она не стесняется; оно вовсе не молодо

для нее.

Нэш уверял, что она ему напоминает старую картину, а он готовится быть художником. Не позволяй ей одеться по собственному выбору, она этого не умеет. Прошу тебя, достань мне ружье…»

В конце письма говорилось больше о ружье. Ружье, как видно, имелось в виду замысловатое…

Жалею, что я прочитал о ружье Этельберте. Это ей испортило весь день.

Письмо Вероники было получено в среду утром. Я его прочитал, сидя в поезде. Переписывая его, я не сохранял правописание оригинала, но подвел его под более принятые формы.

«Вы, конечно, будете рады узнать, что мы живы и здоровы, Робина усердно работает. Я думаю, что это ей полезно. Я ей помогаю, сколько могу.

Я рада, что взяли мальчика для уборки посуды. Одной ей было бы трудно. Она злилась. За это ее упрекать нельзя.

Работа тяжелая и неприятная.

Он добрый мальчик, но им никто не занимался. Я обучаю его грамматике. Он говорит: «вы был» «она был». Но теперь он делает успехи. Он уверяет, что посещал школу.

Но там с ним, как видно, мало занимались. Разве это легко?

Вся метода, полагаю, никуда не годна. Робина просила меня не спешить. Вы желаете, чтобы он говорил по-беркширски. Поэтому я ограничусь элементарными правилами. Он по-беркширски ничего не слышал о Робинзоне Крузо. Что за жизнь!

В воскресенье мы были в церкви.

Я потеряла перчатки. Робина устала. Мистер Леонар явился в своем обычном костюме. Маленький мальчик, который произвел взрыв в нашей печке, был в церкви со своею матерью.

Я с ней не говорила. Над ним тяготеет «злой рок». Вот почему произошел взрыв.

Он тут ни при чем. Из этого ясно, что вина не моя, после всего. Его дед тоже погиб от взрыва. И ему угрожает такая же точно опасность, но только позднее. Он очень смел и собирается оставить завещание. Вся семья Сен-Леонара мне очень симпатична. Мы пили чай у них в воскресенье. Мистер Леонар нашел, что я очень весела. Мисс Дженни на мой взгляд очень красива.

Дик того же мнения. Она мне напоминает ангелов. Дик со мной согласен. Он говорит, что она необыкновенно добра к своим

братьям и сестрам. Это хороший признак.

Мне кажется, ей бы следовало выйти замуж за Дика. Он, наверное, остепенился бы. Он много работает. Но это ему полезно. Мы завтракаем в семь. Я накрываю на стол. Утро бывает великолепное, когда рано встанешь.

У мисс Леонар близнецы, они доставляют ей много хлопот. Но она с ними не хочет расставаться. У нее много забот. Иногда она печальна.

Девочка мне очень нравится. Ее зовут Уинни. Она похожа на мальчика. Его зовут Уилфрид. Иногда дети меняются платьем. Тогда легко ошибиться. Им не более семи лет. Но они много знают. Они хотят научить меня плавать. Разве это не мило с их стороны?

Старшие мальчики вернулись на каникулы, но они страшно важничают. Они меня прозвали «клушей». Я заметила одному, что ему придется об этом пожалеть: когда он вырастет, тогда я буду красива, и он меня полюбит. Но он уверяет, что этого не будет. Пусть он узнает, что я о нем думаю. Девочка очень мила. Она моих лет. Ее зовут Салли. Мы собираемся сочинять пьесу. Но мы не позволим играть в ней Берти. Разве если он извинится. Я буду играть роль принцессы, которая не знает, кто она. Но она это чувствует. Салли будет играть роль колдуньи, которая сватает меня за своего сына. Я влюблена в свинопаса. Он гений. Но этого никто не подозревает. В последнем акте я надеваю корону. Все радуются, исключая колдуньи.

Я думаю, пьеса будет иметь успех. Мы почти докончили первый акт. Она пишет прекрасно. У нее хорошее чутье. Я ей подсказываю, что говорить.

Мисс Дженни делает мне платье с треном и золотыми аграфами. Робина мне дает свое голубое ожерелье. Все годится для старой колдуньи. Никому не придется много хлопотать.

Мистер Бьют нарисует декорации. И мы пригласили всех. Он очень мил. Робина находит, что он много о себе воображает. Но она очень критически относится к мужчинам вообще.

Она с этим согласна. Она не виновата. Я нахожу его очень приветливым. Дик со мною согласен. Я думаю, Робина переменит свое мнение. Он обещал этим не обижаться. У нее такая привычка. Она чувствует свою несправедливость. Он, право, очень мил.

Я ему так и сказала. Он назвал меня доброй девочкой. Он мне сделает настоящую корону. Робина находит, что у него красивые глаза… Это я ему передала. Он засмеялся. Здесь бывает молодой человек, который влюблен в Робину. Но об этом я ей ничего не скажу. Она очень обидчива. Он не красив, но имеет вид

добродушный. Он пишет в газетах. Кажется, не богат. Робина с ним очень любезна в его присутствии. Затем она выходит из себя. Это все началось после взрыва. Быть может, такова ее судьба. Он умолчит о взрыве в газете, насколько это возможно.

Но он имеет обязанности относительно публики. Я откажусь с ним видеться. Так лучше. Мистер Сли обещает, что завтра все будет готово. Вы можете приехать. У нас будет говядина по-ирландски. И вкусный пудинг для перемены. Он очень мил, уверяя, что он сам попадался, когда был ребенком. Все это дело опыта.

В пятницу мы приглашены к миссис Леонар. Вы тоже должны приехать. Робина мне советует надеть новое платье. Но мы потеряли пояс. Это довольно странно. Не попался ли он к вам?

Придется купить новый пояс. Это неприятно. Мои новые башмаки уж износились. Это совершенно непонятно, потому что они стоили очень дорого. Прибыл ослик. Он так мил, кушает из моих рук и позволяет себя целовать. Но он упрям. Подвигается, когда на него прикрикнут, и то погромче.

Мы с Робиной вздумали вчера прогуляться после чая. Дик бежал рядом с нами. Он покрикивал и, наконец, охрип. Тогда ослик отказался идти. Робина сердилась на Дика за то, что он выкрикивал грубые слова. Дик уверял, что это бывает невольно, когда приходится кричать.

Робина приходила в ужас; люди могли их слышать. Мы все пошли пешком, стали подталкивать ослика, чтобы он шел домой. Но он очень упрям. Мы все очень устали. Робина его возненавидела. Дик хочет дать полкроны мистеру Гопкинсу, чтобы тот указал, как заставить ослика повиноваться. Гопкинс умеет с ним справляться, и ослик у него пускается в галоп. Робина подозревает, что это гипноз, но Дик уверен, что дело проще.

Гопкинс славный малый. Он просит тебя одолжить ему книгу. Это поможет ему выражаться, как сельский житель. Я ему дала книгу насчет окна, сочинения Барри, того самого, который был у нас в прошлом году. Там масса странных слов. Он их выучил наизусть. Но их значение непонятно и для него и для меня. Я написала уж много нашей книги. Это будет интересно.

Вроде сновидения. Он является обыкновенным отцом. Не лучше, не хуже других. Он летит все выше и выше. Приятное ощущение. Наконец долетает до луны. Там все изменяется. Оказывается, что там все знают дети и никогда не ошибаются. Старшие должны им повиноваться. Они добры, но тверды. Это ему приносит пользу, и, проснувшись, он оказывается исправленным. Я по твоему совету записываю все, что мне

приходится испытывать.

Материала масса. Ты из этого узнаешь, как несправедливо относятся к детям. Мне приказали накормить ослика, потому что он принадлежит мне. Я его накормила. Дик остался без ужина и выругал меня идиоткой.

Тогда Робина мне запретила кормить ослика, так как он ничего не ест, кроме хлеба с маслом. Булочник не пришел. Его нигде не было. Человек, который приходил доить корову, забыл запереть дверь. Я была рассеяна. Дик спросил меня, накормила ли я ослика. Но я этого не сделала. Дик рассердился. Я не обратила на него внимания.

Теперь ты сам можешь судить. Мы все очень счастливы. Но будем очень рады видеть тебя. Мятный крем здесь не удается и обходится дорого в сравнении с Лондоном. Доволен ли ты моим письмом? Ты мне советовал писать, как я думаю. Я так и сделала.

Кажется, нечего более сказать».

Я прочитал Этельберте выдержки из этого письма. Она отвечала, что радуется своему решению ехать со мной.

IX

Если бы все шло своим порядком, наше прибытие на дачу г-жи Леонар могло бы произвести впечатление. Это было, так сказать, первым появлением на местной сцене. Робина решила не жалеть расходов. Каретник предложил экипаж, в котором одному из нас пришлось бы сидеть на козлах. Я доказывал Робине, что это принято на даче. Но Робина утверждала, что многое зависит от первого впечатления. Дик, вероятно, займет место на козлах и закурит трубку. Она выбрала ландо необыкновенных размеров, выкрашенное в желтый цвет. Мне оно казалось более пригодным для выезда лондонского мэра, чем для обыкновенных обывателей. Но Робина отличалась большей щепетильностью в таких вопросах, и я не возражал. Экипаж оказался поместительным. Старик Глоссон его запряг парой серых, как мне казалось, резвых лошадей. Но кучер не выдерживал критики. Не знаю почему, но он напоминал собою парня, привыкшего развозить поутру молоко.

Мы выехали благополучно. Вероника, хлопотавшая все утро, сидела неподвижно на краю сиденья, в позе существа, умершего для мира. Дик в светлых перчатках, купленных Робиной. Этельберта, предубежденная против семьи мистера Леонара, сидела молча. Я забыл свой портсигар. Я пробовал выкурить сигару Сен-Леонара. Он предлагает курить своим друзьям, но сам не курит, уверяя, что число курящих убавляется. Я не предвидел возможности курить ранее трех часов. Нет ничего досаднее, когда люди спешат. Робина, опасаясь веснушек, закрылась зонтиком вместе с матерью. Они держали его перед собою горизонтально, скрывая вид. Я удивлялся, заметив улыбку людей, встречавшихся по дороге. Исключая экипажа, в нас не было ничего смешного. Какие-то велосипедисты громко расхохотались. Робина заметила, что нам следует остерегаться только одного: как бы жизнь в деревне в связи с уединением на свежем воздухе не подействовала вредно на наш мозг. Она уверяла, что, по ее наблюдениям, деревенские жители быстро глупеют. Я не разделял ее опасений, догадавшись, что всех рассмешило. Дик нашел за подушкой, забытый, вероятно, после свадьбы, большой молитвенник, обыкновенно употребляемый в церквах, и принялся его читать с Вероникой. Глядя на них, можно было вообразить вдали звуки органа.

Дик наблюдал за зонтиком, и когда, въезжая в тень, его закрывали, они с Вероникой любовались полетом ласточек. Робина хотела жаловаться каретнику на оскорбления, которым

приходилось подвергаться благодаря экипажу. Ей казалось, что ему следует принять меры против этого. Она предложила подняться на гору пешком, оставив мамочку в экипаже.

Этельберта сказала, что и она предпочитает пройтись, проехав две мили, свесив ноги, что ее очень утомило. Она бы предпочла экипаж обыкновенных размеров. Наш кучер, обратив внимание на полдневную жару, советовал нам остаться на местах. Но его совет не был принят. Робина, может быть, немного слишком чувствительна, когда вопрос касается животных. Я помню, когда мы были детьми, она ударила Дика по голове за то, что он не хотел говорит шепотом и мог таким образом разбудить кошку. Можно, конечно, доводить до крайности сострадание к животным; но это ошибка простительная, и я ее не осуждаю. Веронике позволили остаться в экипаже, так как у нее заболела нога. Эта боль у нее появляется внезапно, без всяких внешних признаков, но ее лицо выражает такое страдание, что может тронуть каменное сердце. Как видно, боль у нее началась уже с утра; но она ничего не говорила, не желая тревожить мать. Этельберта думает, что боль наследственная, так как у нее была тетка, страдавшая судорогами. Она поместила Веронику на переднем сиденье, окружив ее подушками; все остальные пошли пешком. Я не могу положительно утверждать, имеют ли лошади свои причуды, но иногда я готов этому верить. У меня однажды была лошадь, которая очень любила дразнить молодых девушек. Иначе я не могу объяснить ее причуд. Завидев, например, за четверть мили какую-нибудь разодетую барышню, весьма довольную собой, эта лошадь, когда мы приближались, оглядывала ее с ужасом и удивлением. Это было слишком очевидно, чтобы не заметить. На сто ярдов далее лошадь начинала пятиться перед ней. Я замечала, как бедная девушка краснела от досады за такое оскорбление. Очутившись впереди нее, лошадь переходила на противоположную сторону дороги, выражая желание лягаться. Обратившись назад, я мог заметить, что девушка удивленно оглядывалась, как бы спрашивая себя, в чем дело. «Что такое случилось, — спрашивала она себя, — что даже животные меня как будто боятся, принимая за пугало?»

Взбираясь на пригорок, наша пристяжная с левой стороны обратила свой взгляд на нас. Мы отстали от экипажа шагов на сто; день был жаркий и пыльный. Первая лошадь что-то шепнула своей соседке, которая тоже на нас взглянула; я угадал, что будет. Мне приходилось испытывать такие проделки. Я крикнул нашему вознице, но поздно. Лошади пустились в галоп и исчезли на повороте. Если бы на козлах сидел опытный кучер, я бы не беспокоился. Дик просил мать не пугаться, и сам быстро зашагал

вперед, с быстротой пятнадцати миль в час. Я подвигался с быстротою десяти миль в час, что для человека средних лет довольно похвально, принимая во внимание одежду, стесняющую движение. Робина в нерешительности, следовать ли ей за Диком или оставаться при матери, перебегала от одного к другому. Этельберта надеялась прибыть вовремя на место крушения, чтобы принять последние распоряжения Вероники.

В таком порядке явились мы в дом миссис Сен-Леонар.

Вероника, сидя под навесом, составляла центр всего собрания; ее угощали мороженым шербетом, она скромно рассказывала о пережитом ею, побеждая все сердца. Она сообщила, что мы явимся позднее, предпочитая идти пешком. Она была обрадована, увидя меня, и сообщила, что лошади остались довольны своей прогулкой.

Я поспешил отправить Дика с добрым известием к матери. Молодой Бьют пожелал его сопровождать. Он уверял, что может раньше доставить известие; он так и сделал и ему пришлось раскаяться.

Этот мир нельзя считать благоустроенным, иначе добрые дела не оканчивались бы для нас затруднениями. Требование Робины, чтобы мы взбирались по пригорку пешком, было вызвано ее сочувствием к страданиям бессловесных животных, — добродетельным чувством, способным радовать ангелов. В результате это ей доставило страдание и упреки. Этельберта редко выходит из себя. Но когда это с ней бывает, в ней происходит, так сказать, душевная чистка. Вся досада, накопившаяся в ней, все негодование, оставшееся незамеченным, забытым в ее мозгу, сразу вырывается наружу. Она торжественно выкладывает все неудовольствия, накопившиеся за годы против вас, малейшие события прошлого возникают как неясные видения, быть может, из предыдущего существования. Этот прием имеет некоторое преимущество. Благодаря этому, она освобождается от своей злобы против всякого живого существа. После такого взрыва очень долго не услышишь от нее ни одного жесткого слова. Иногда приходится ожидать целыми месяцами. Пока она приготовляется к этому просветлению, атмосфера кругом довольно тревожная. Главный элемент во всем этом — быстрота восприятия. Ранее, чем они достигли вершины холма, Робина выслушала подробный перечень всех своих ошибок, начиная с Рождества. Ее поступки в этот день служили лишь дополнением ко всем предшествующим, включая сюда намерение подвергнуть сестру насильственной смерти, гибель отца, которому в его годы угрожала опасность от апоплексии, и пр. В этот вечер Робина с горечью уверяла, что ей еще долго предстоит

с собой бороться в защиту лучших стремлений сил природы. В заключение и с Эрчибальдом Бьютом приключилась печальная история; единственным его желанием было облегчить как можно скорее тревогу бедной матери и сестры, а между тем….

Шляпа Робины, неудобная для ходьбы, развязалась. С этим расстроилась вся ее прическа. Как известно, для устройства последней женщины обыкновенно употребляют так называемую подушечку. Она делается из очесок собственных волос.

Бьют встретил Робину в ту самую минуту, когда она потеряла свою подушечку и разыскивала ее по дороге. Ему удалось ее найти. Этельберта его благодарила за известия насчет Вероники, но спешила далее, чтобы воочию убедиться, что все благополучно. Взяв Дика под руку, она оставила позади Бьюта и мать.

Как я ему объяснил позднее, если бы он спросил мое мнение, я бы ему посоветовал предоставить это дело Дику, который опоздал на полминуты. А ему я бы посоветовал отправиться в противоположную сторону и возвратиться через полчаса. За это время Робина с помощью Дженни привела бы в порядок свою прическу. Он бы мог выслушать рассказ об этом происшествии от самой Робины, в ее собственном «изложении», где она являлась бы с выгодной стороны. Дайте ей время, и она бывает остроумна. В кратких словах она бы вызвала такое впечатление, что одна она во время происшествия оставалась спокойной и не потерялась… Я ее хорошо знаю. «Добрый Дик» и «бедный папа» — я слышу ее слова — играли бы второстепенную роль: весь драматический интерес сосредоточился бы на Веронике. Робина не желает обманывать, но у нее художественный инстинкт. Из этого вышел бы занимательный рассказ. Робине досталась бы центральная роль. Она бы с довольствием рассказала все происшествие и была бы довольна своими слушателями.

Все это Бьют проморгал. Доброе намерение ему ничего не доставило, кроме рассеянных замечаний от Робины относительно его самого, о намерениях Создателя при его создании и об его отношении к общему плану всего существующего. Замечаний несправедливых, как он хорошо чувствовал.

В этот самый вечер, раскуривая трубку, мы сообщили друг другу свои наблюдения. Он мне говорил об одном товарище, студенте-законоведе, который работал с ним в Эдинбурге. По словам Бьюта, трудно было встретить более добродушного человека при рыцарской вежливости в отношении женщин. И все это ему доставило много неприятностей со стороны почтенных людей, по уверению Бьюта. Он более всего сочувствовал простым бедным девушкам и старым девам. Достаточно было женщине

казаться недовольной, чтобы пробудить его сочувствие. Он им посылал подарки — недорогие, анонимные.

Сюрпризы, соответствовавшие характеру каждой. Одну старую деву он даже поцеловал в лоб.

Все это он исполнял из чувства жалости. Прекрасная мысль, но неудачно примененная. Ни одна из них ничего не поняла, не вникла в суть дела.

Все они воображали, что он ими увлекается.

Наконец они обсуждали этот вопрос с подругами. Подруги оказались поверенными других подруг. Эти подруги тоже принимали участие в обсуждении вопроса. Некоторые из них являлись к нему с целым списком, предлагая ему указать свой выбор, обещая в случае быстрого решения уладить дело с остальными.

Тогда ему сделалось ясно, что все дело может кончиться катастрофой. Он не хотел признаться, что все было задумано из сострадания к бедным женщинам, что он желал их утешить, так как никто не обращал на них внимания.

Необходимо было добраться до истины.

Друзья, ценившие его доброе сердце, не могли слышать, когда его обвиняли в жестокости и непостоянстве.

Дамы, известные своей красотой и популярностью, находили его поступок трогательным. Но все остальные, к которым он обращался с добрым словом, готовы были его задушить.

Он поступил благоразумно, переменив свой адрес на Эбердин, где жила его тетка. Но эта история распространилась. Ни одна женщина с ним не соглашалась говорить. Один взгляд Чэнгуди вызывал слезы на глазах молодых девушек.

Это служит доказательством: в этом мире недостаточно одного желания делать добро, надо привыкать, как его делать.

Во время моего пребывания в Колорадо на Рождестве я встретил там одного человека. В это время я читал лекцию. Он желал передать привет своей жене в Нью-Йорк. Он был женат девятнадцать лет, и в первый раз ему пришлось расстаться со своей семьей на Рождество. Он представил себе семью в Новой Англии, собравшуюся вокруг стола: жену, невестку, дядю Сайласа, кузину Дженни, Джека и Билли и златокудрую Лену.

Они собрались на обед и, вероятно, о нем вспоминали, жалея, что его нет.

Это была прекрасная семья; все его любили. Какая радость для них узнать, что он здоров, слышать его голос!

Современная наука дошла до таких чудес!

Правда, телефон на далеком расстоянии обойдется в пять долларов, но что значат пять долларов в сравнении с

возможностью доставить удовольствие целой семье в день Рождества! Мы только что вернулись с прогулки. Он вынул деньги, улыбаясь при мысли об удовольствии, которое он доставит всем.

Звонок телефона раздался в ту самую минуту, когда его жена с ножом и вилкой в руке готовилась разрезать индейку. Она была женщина нервная. Ей два раза приснился ее муж: каждый раз она не могла к нему приблизиться. В первый раз она видела, как он вошел в лавку на Бродуэе, и поспешила за ним. Он стоял в десяти шагах от нее, но публика внезапно окружила его со всех сторон и не давала ей пройти.

Это ее очень раздражало даже во сне.

Ей снилось в другой раз, что он ей встретился в Бруклине, когда она ехала домой в экипаже. Она махала ему зонтиком, желая обратить его внимание, но он ее не замечал. Всякий раз, как она старалась встать, чтобы выйти ему навстречу, экипаж отклонялся в сторону, и она упадала на сиденье. Когда она наконец к нему добралась, оказалось, что это вовсе не ее муж, а человек с объявлением о «Геркулесе».

Она приблизилась к телефону, дрожа всем телом.

Что можно говорить из Колорадо до Нью-Йорка — этому она никогда бы не поверила. Дело было еще новое, чем объяснялась неясность голоса и произношения. Я стоял возле него в то время, как он говорил. Мы находились в холле отеля близ источников Колорадо. Было пять часов пополудни, а в Нью-Йорке около семи.

Он ей сообщил, что он жив и здоров, и просил ее не беспокоиться, упомянув о том, что утром прогуливался в *Саду Богов*, как называется местный парк. (В Колорадо имеют такое обыкновение.) Он тоже прибавил, что пил воду из одного целебного источника, которыми изобилует страна. Он уверял ее, что воды этого источника ему очень полезны. Он посылал привет кузине Дженни — богатой незамужней даме, — надеясь, что они скоро увидятся. Она была обидчива и любила, чтобы ей оказывали особое внимание. Расспросив подробно обо всех, он им посылал свое благословение, сожалея, что они не могут вместе с ним наслаждаться чудной природой, где вечное солнце и благоухание ветерков. Он готов был сказать гораздо больше, но другие ему помешали. Уверенный в том, что исполнил доброе дело, он предложил поиграть на бильярде. Если бы он мог угадать, что происходило по ту сторону телефона, он бы не был так доволен собою. До окончания беседы жена его пришла к убеждению, что с ней говорил умерший, забыв, что с ней говорят по телефону. Ей казалось это возможным. Позднее, обдумывая спокойней это обстоятельство, она утешалась при мысли, что

дело могло быть хуже. Слова *Сад Богов*, в соединении с словами «целебный источник», были приняты ею в духовном смысле. Выражение «вечное солнце» и «благоухание ветерка» совпадало с ее представлением о небесной топографии, соответствуя выражениям, употребляемым в общедоступном молитвеннике. Ее немного удивили его вопросы о здоровье ее и детей; но она объяснила это тем, что даже там не все может быть известно — *новопреставленным*.

Она давала ответы, насколько ей дозволяло ее волнение; наконец она лишилась чувств. Шум, происшедший при ее падении, вызвал из столовой всех собравшихся к обеду.

Прошло некоторое время, пока все объяснилось. Когда она кончила свой рассказ, ее брат Сайлас под впечатлением минуты позвонил по телефону с неопределенной мыслью вступить в беседу с св. Петром, чтобы узнать от него все подробности, но наконец опомнился и извинился перед телефонисткой за свою ошибку.

Старший сын, практичный молодой человек, старался доказать, что никто ничего не выиграет, оставаясь без обеда. Его горько упрекали за его способность думать об удовольствии, в ту минуту как обожаемый отец находится на небе.

Это напомнило матери о привете, посланном кузине Джейн, которая до этой минуты ее утешала. Когда кузина Джейн лишилась чувств, в свою очередь, эта драматическая неожиданность привела всех в недоумение, и в девять часов вся семья улеглась спать, оставшись без обеда.

Старший сын — как я заметил, практичный молодой человек — догадался на другой день рано утром послать депешу, на которую был получен ответ, что возлюбленный отец находится в Колорадо. Но единственной наградой моего друга за его нежную заботливость было приказание никогда более не прибегать к подобным шуткам.

Я бы мог привести другие примеры в доказательство того, что добродетельные поступки нередко плохо вознаграждаются. Но, как я сказал Бьюту, мне тяжело останавливаться на этом вопросе.

У Сен-Леонаров собралось большое общество, в том числе одна или две семьи из местных жителей. Я сам желал бы появиться при более выгодных условиях. Полная дама с тонким голосом думала, что все это я устроил преднамеренно. Она это находила так «драматичным».

Происшествие имело одно хорошее последствие: Дженни позаботилась незаметно проводить в дом Этельберту и Робину через молочную. Когда они вернулись к гостям, им предложили чашку чаю; они себя чувствовали прекрасно, и прически их были

в порядке. Возвращаясь домой, Этельберта заметила, какое счастье для миссис Сен-Леонар иметь такую дочь, как Дженни, способную тихо и незаметно все устроить как нельзя лучше.

Все были очень довольны. Конечно, мы по обыкновению ошибались в ролях: гости со мною говорили о книгах, театре, а я сообщал им мой взгляд на охоту и земледелие. Сколько я помню, кто-то жаловался на людей, занятых только собою. Между тем несомненно, что для среднего человека это единственный вопрос, который он может излагать интересно. Я знаю одного человека, который разбогател, продавая патентованную пищу для детей. Когда он рассказывал о причудах производительных компаний и о проделках публикаций, он бывал забавным. Я навещал его, когда он не был женат, и с удовольствием слушал его рассказы. Он сделал ошибку, женившись на умной, образованной женщине, которая ему страшно вредила в смысле разговорном. Теперь он не говорит пустяков и надоедает своими разговорами. Вот почему весело в обществе актеров и актрис. Они не стыдятся говорить о себе.

Я вспоминаю об одном обеде. Наш хозяин был один из известных адвокатов в Лондоне. Знаменитая романистка сидела по правую сторону от него, знаменитый ученый — против хозяйки дома. Последняя сама написала исследование о борьбе за национальность в Южной Америке, — книгу, считающуюся авторитетом во всех иностранных канцеляриях Европы.

Среди других гостей были епископ, издатель ежедневной лондонской газеты — человек, знавший внутреннее положение Китая так же хорошо, как свой клуб; выдающийся драматург, министр и поэт, имя которого известно повсюду, где преобладает английская речь. Мы сидели часа два, слушая бедовую маленькую женщину, которой удалось выступать, сначала на небольшой сцене, а затем превратиться в звезду — в оперную певицу первого разряда.

Обучение, как она заметила с сожалением, не было обязательно в округе Чикаго в ее молодые годы; вынужденная зарабатывать хлеб с тринадцати лет, она не имела возможности пополнить свое образование. Но она хорошо знала свои силы и рассказывала, что ей пришлось испытать и пережить, пока она неуклонно следовала своему призванию. Пока она не упрочила своего положения, о ней говорили много пустяков.

Между тем епископ наш рассказывал все, что он узнал о Китае во время своего пребывания в Сан-Франциско; человек, проживший двадцать лет в деревне, старался объяснить свой взгляд на английскую драму; наша хозяйка пыталась занимать ученого, рассуждая о радии; драматург объяснял свой взгляд на

положение дел в России. Поэт испортил себе обед, стараясь объяснить министру новый источник налогов. Писательница и министр четверть часа обсуждали вопрос о христианской науке, ошибочно предполагая, что тот и другой в нее верят. Издатель объяснял отношение церкви к новому богословию; хозяин, один из остроумных адвокатов, все время беседовал с буфетчиком.

Удовольствие прислушиваться к разговору, найти человека, знающего, о чем он говорит, можно сравнить с радостью, которую мы ощущаем, найдя коробку спичек в темноте. Нам его в продолжение обеда доставила актриса.

Я мог бы заинтересовать этим добрых людей, беседуя с ними о театрах и литературных знаменитостях, которых я встречал. Они могли бы мне поведать историю о своих собаках и говорить о законах насчет мелкого землевладения.

Но они сделали несколько лестных замечаний о моих книгах, уверяя меня, что они их читали и ими восхищались во время болезни, страдая в это время умственным расстройством. Я понял, что если бы они всегда оставались в добром здоровье, они бы и не подумали читать мои книги.

Один человек уверял меня, что я спас ему жизнь. Он хотел сказать: его умственные силы, т. е. мозг, когда он почти сошел с ума. Дошло до того, что он забыл свое имя. Его голова была пуста. И вдруг однажды — случайно, или по воле Провидения — ему попалась одна из моих книг. Это единственная книга, которую он был способен читать целыми месяцами! И теперь, когда он чувствует упадок сил — при этом он сравнил свой мозг с выжатым лимоном — ом оставляет все и принимается за мои книги не разбирая, какая попадется. Я полагаю, что можно радоваться, спасая чужую жизнь, но я бы желал при этом иметь право выбора.

Я не уверен в том, полюбит ли Этельберта миссис Сен-Леонар. Не думаю, чтобы последняя одобрила первую. Я полагаю, что миссис Леонар вообще мало кого любит — иначе как по долгу. Ей на это не хватает времени. Человеку предназначено страдать, и надо привыкать к этому чувству — такая философия не дурна. Но миссис Сен-Леонар задалась целью разыскивать поводы к страданию, оставляя в стороне все другие жизненные интересы. Она считает это единственным назначением женщины, заслуживающей названия христианки.

Я застал ее однажды одну после обеда. Видя ее озабоченной, я спросил, не могу ли ей быть полезным.

— Нет, — отвечала она, — я стараюсь вспомнить, о чем я горевала утром. Совершено не могу припомнить!

Позднее она вспомнила и вздохнула с облегчением.

Этельберта находит самого Сен-Леонара прелестным. Мы с ней заедем в воскресенье, чтобы повидать детей. С тремя или четырьмя из встреченных нами гостей мы наверно сойдемся.

Мы уехали в половине седьмого и пригласили с собой Бьюта к ужину.

X

— Она женщина добрая, — заметила Робина.

— О ком ты говоришь? — спросил я.

— Он немного требователен, как мне кажется, — продолжала Робина, обращаясь к восходящей луне. — К тому же много детей.

— Ты думаешь о миссис Сен-Леонар? — спросил я.

— По-видимому, нет возможности доставить ей удовольствие, — пояснила Робина. — В среду я пришла помогать Дженни укладывать корзины для пикника. Она сама придумала этот пикник.

— И что же? — спросил я.

— Глядя на нее, можно было подумать, что она собирается на похороны. У нее явилось предчувствие, что она схватит сильную простуду, сидя на траве. Я ей напомнила, что дождя не было за последние три недели и что земля суха, как кость; она уверяла, что засуха травы не касается. В ней всегда сохраняется какая-то сырость и что подушки всасывают влажность. Но это не важно. Всему бывает конец, а пока другие счастливы… Ну, вы знаете ее манеру говорить, — все в этом роде: «О ней никогда никто не думает; ее перетаскивают с места на место». Она говорила о себе как о святой иконе. Это подействовало на мои нервы, я предложила Дженни остаться с ней дома. В это время меня не прельщала мысль о пикнике.

— «Когда наши желания исчезают, мы гордимся нашей добродетелью, думая что мы их побороли», говорит Ларошфуко, — заметил я.

— Но я не гордилась своей добродетелью, и вина была на ее стороне. Я ей сказала, что для меня безразлично остаться дома, что и без нее все обойдется хорошо, и ей нечего беспокоиться. Тогда она расплакалась.

— Она, вероятно, прибавила, — заметил я, — что тяжело иметь детей, которые сами, желая ехать на пикник, оставляют свою мать дома; что в ее жизни и так мало радостей; что она только и желала этого выезда; но раз все будут счастливы, если ее не будет, то…

— Да, нечто в этом роде, — подтвердила Робина, — но гораздо подробнее. Мы все вокруг нее засуетились, уверяя, что без нее пикник не удастся. Она утешилась.

В это время сова пронзительно завопила, сидя на дереве. Она появляется каждый вечер в сумерки на верхушке дерева в виде призрака. Но ей не следует гордиться своим голосом. Это ей невыгодно во всех отношениях. Ее дикие вопли пугают все живые

существа на расстоянии целой мили в окружности, заставляя зверьков прятаться в свои норы. Быть может, все это происходит по законам природы для уничтожения долго живущих мышей, оглохших от старости и обременяющих свою семью. Что касается остальных, не мечтающих о самоубийстве, они все в безопасности. Этельберта считает крики совы предвестником смерти. Но, принимая во внимание, что в нашем округе многое множество сов, едва ли найдется человек, жизнь которого в таком случае страховое общество согласилось бы принять в страховку.

Веронике нравится эта сова.

Даже ее крик ей кажется приятным. Я застал ее накануне под деревом, завернувшейся в шаль; она старалась подражать крику совы. Как будто одной совы недостаточно. Мне было на нее досадно. К тому же подражание ей не удавалось. Она уверяла, что подражает лучше меня. Я был так глуп, что принял ее вызов. Теперь мне досадно на себя, когда я вспоминаю: почтенный литератор, средних лет, сидя под деревом, старается подражать крику совы! Птица была настолько глупа, что нас поощряла.

— Она была прекрасная молодая девушка, лет семнадцати, когда Сен-Леонар влюбился в нее, — продолжал я начатый разговор, — У нее были темные глаза с мечтательным взглядом, скрывающим какую-то тайну. Ее выражение было восхитительно, когда она сердилась.

Думаю, что это бывало очень часто. Это выражение иногда появляется у нее и теперь, но в сорок шесть лет оно менее привлекательно. Для хорошенькой девушки лет девятнадцати досада, отсутствие логики имеют свою прелесть: причуды голубоглазого котенка нас поощряют его дразнить. Молодой Губерт Сен-Леонар находил ее капризы очаровательными; у него были вьющиеся волосы темного цвета, он легко краснел, и готовился покорять весь мир; ее подвижность ему нравилась, и он в этом ей признался. Он находил ее своевольной, властной и просил ее, ради него, сохранить свои причуды, уверяя ее, что она прекрасна, когда сердится. Это, вероятно, так и было в девятнадцать лет.

— Разве он все это тебе рассказывал? — спросила Робина.

— Ни слова, — успокоил я ее, — он только говорил, что она, по мнению знающих людей, была самой красивой девушкой в Кембридже и что ее отец разорился, обманутый каким-то негодяем. Нет, по выражению французских полицейских, я только «воспроизвожу картину преступления».

— Может быть, она неверна, — заметила Робина.

— Очень возможно, — возразил я. — Но почему? Разве тебе это кажется невероятным?

Мы сидели у входа, ожидая Дика, который должен был вернуться с поля.

— Нет, — отвечала Робина, — все это мне кажется весьма вероятно.

— Очень жаль, что это так! Не забывай, что я старый литератор. Я поставил на сцену столько драм. Легко проследить как их возникновение, так и развязку. Теперь мы присутствуем при последнем акте драмы Сен-Леонаров, — при бесполезном акте, который только напрасно отнимает время. Средние действия, по всем вероятиям, были более увлекательны и разыграны более серьезно, главным образом, для развлечения прислуги. Но первый акт с декорациями полей и лесов наверное был прекрасен. Перед ней ее преданный поклонник, о котором она слыхала и давно мечтала. Приятно думать, что вас считают за совершенство — не вполне: это может казаться натяжкой — но существом, близким к совершенству. Самые недостатки, которые могут порицать родные и знакомые, являются в настоящем свете. Художественное освещение скрадывает все недочеты. Добрый Губерт находил ее прекрасной во всех отношениях. Желание изменить ее он считал бы преступным.

— В таком случае, — возразила Робина, — это его вина, если он поощрял ее недостатки.

— Что ему было делать, — спросил я, — если бы он их даже заметил. Мы никогда не указываем недостатки тем, кого очень любим…

— Гораздо лучше, если б он это делал, — утверждала Робина. — Из любви к нему она могла бы исправиться.

— Ты бы желала, чтоб было так, если бы поставила себя на ее место? — спросил я, — Можешь себе представить молодого Бьюта или…

— Почему именно его? — спросила Робина. — Какое он имеет отношение к нашему разговору?

— Никакого, — отвечал я, — исключая того, что он первый молодой человек, с которым ты не кокетничала.

— Я ни с кем не кокетничаю, я стараюсь только быть любезной.

— За исключением молодого Бьюта, — продолжал я.

— Он меня сердит, — заметила Робина.

— На днях, — сказал я, — мне пришлось читать о свадебных обрядах у кавказцев. Молодой человек становится перед окном молодой девушки и начинает петь, желая обратить на себя ее внимание. Если она довольна пением, но слушает его спокойно, не теряя голову — это означает, что он ей не нужен. Но если же она открывает окно и выходит на улицу — дело выиграно.

Кажется, этот обычай преобладает среди кавказцев низшего класса.

— Очевидно, народ глупый, — заметила Робина. — Ведро холодной воды могло доказать ее любовь.

— Человек — существо сложное, — пришлось мне согласиться. — Назовем его Х. Вообрази, что этот Х придет и скажет тебе: «Дорогая Робина, у вас прекрасные качества. Вы очень милы, пока вам не противоречат; но в противном случае вы делаетесь несносны. Вы очень добры к тем, которые согласны принять от вас одолжения, какие вам угодно оказать. Вы способны на самоотвержение, когда захотите, что бывает довольно редко. Вы богато одарены и умны, но, как все такие люди, нетерпеливы и властолюбивы. Вы энергичны, пока на вас не находит лень.

Вы готовы простить, когда досада улеглась. Вы великодушны и откровенны, но если ваша цель может быть достигнута хитростью и коварством, вы бы не стали колебаться, думая, что цель оправдывает средства. Вы отзывчивы, впечатлительны и восприимчивы, когда дело касается справедливости; но невоздержанны в ваших словах. Вы мужественны: человек может охотиться с вами на тигров, — с вами лучше, чем с другими, — но вы упрямы, скрытны и требовательны. Одним словом, вы имеете все задатки, чтобы стать идеальной женой, и в то же время все недостатки, заставлявшие Сократа сожалеть о своем браке.

— Была бы очень довольна выслушать все это! — заявила Робина, вскакивая с места.

Я не мог разглядеть ее лица, но я знал, что оно имело выражение, которое вызвало желание Примгета изобразить ее в виде Жанны д'Арк. Однако это выражение скоро исчезало.

— Я бы его полюбила за его слова. Я бы сумела его уважать. Если б я встретила такого человека, я бы стала такой женщиной, какую он искал. Я бы старалась целыми днями быть такой! Непременно!

— Удивляюсь, — возразил я. Робина меня привела в недоумение. Я воображал, что лучше знаком с женским характером вообще.

— Всякая девушка поступила бы так: он бы этого заслуживал.

«Вот новая мысль! — подумал я. — Господи боже! Весь мир мог бы переродиться».

Эта мысль меня не покидала.

Любовь без ослепления. Любовь, переставшая быть забавой богов и людей. Любовь, свободная от страсти.

Цепи сброшены. Бессмысленные оковы откинуты. Любовь, созидающая жизнь, не разрушающая ее. Брак, основа

цивилизации, утвержденной на скале истины — реальности, избежавший мести, лжи и обманов.

— Читала ты когда-нибудь Томаса Джонса? — спросил я.

— Нет, — отвечала Робина. — Мне эту книгу не хвалили.

— Да, она не хороша. Человека нельзя назвать прекрасным животным. И женщина этого также не заслужила.

— В человеке много животного.

— Что же делать? За несколько сот тысяч лет человек был действительно животным, вечно боровшимся с такими же животными, как он сам, населявшими дебри и пещеры. Он подстерегал добычу, скрываясь в высоких зарослях на берегу рек, раздирая пищу когтями и зубами, издавая дикий рев.

Он жил и умирал таким образом в продолжение целых веков, передавая своему потомству, из поколения в поколение, свою зверскую кровь, животные инстинкты, делаясь все более сильным и жестоким, пока происходило наслоение скал и созидалось дно океанов.

Вавилон! Это все равно, что современный город, на время забытый, вследствие перемены торгового тракта. История? Это рассказ о наших днях. Люди ползали на четвереньках по всему свету, оставаясь животными целые миллионы лет, прежде чем узнали тайну своего назначения. Лишь за последние века они старались сделаться действительно «людьми».

Современная нравственность! Сравнивая ее с законами природы, ее можно считать новорожденной.

Разве можно после того ожидать, чтобы человек в известный час забыл уроки, преподанные ему в классе?

— Итак, ты советуешь мне читать Томаса Джонса? — спросила Робина.

— Да, — отвечал я, — это я тебе советую. Я бы этого не сделал, если бы считал тебя за ребенка, способного только слепо верить и безотчетно бояться. Солнце не меркнет от тумана; благоухание розы не исчезает, если червь поселяется на ее листьях. Здоровая роза может устоять против червей, ей приходится с ними примириться.

Все люди не похожи на Томаса Джонса; требования к человечеству повышаются; многие стараются сообразоваться с ними, и некоторым это удается. Но Томас Джонс кроется в каждом из нас, кто не страдает анемией или чахоткой. И бесполезно нас в этом упрекать, так как мы этому помочь не можем. Мы делаем, что возможно. Через несколько сот лет приблизительно, если все будет благополучно, мы станем совершенными людьми. И, вспоминая о прошлом человечества, я готов сказать, что мы еще пробиваемся в жизни довольно

благополучно.

— Самое лучшее быть довольным собою, — сказала Робина.

— Я вовсе не доволен, — отвечал я. — Я только продолжаю надеяться. Но мне досадно, когда люди начинают уверять, что человек родился с душою белоснежной, как ангел, и прилагает все свои усилия, чтобы превратиться в грешника. Это, по-моему, верный путь, чтобы лишить его бодрости. Человека необходимо поощрять.

Кто-нибудь скажет: браво! это прекрасно! подумай, друг мой, чем ты был еще недавно! — Неумолимым дикарем, обросшим волосами. Ты руководствовался законом джунглей; твоя нравственность стояла не выше той, которая господствует в кроличьих садках! Взгляни на себя теперь: в светлой шляпе, в чистеньких штанах. Ты по воскресеньям посещаешь церковь! Продолжай так! Держись этого! Поступай так! Тебе больше ничего не остается. Через несколько веков сама природа-мать тебя не узнает…

— Что касается вас, женщин, — продолжал я, — не много лет назад мы вас покупали и продавали, держали вас в клетках, не жалели палок, когда вы не хотели повиноваться. Читала ты историю Гризельды многострадальной?

— Да, — отвечала Робина, — читала.

Я догадался по ее голосу, что выражение Жанны д'Арк исчезло с ее лица. Если бы Примгет мог ее нарисовать в эту минуту, я бы ему посоветовал изобразить ее в виде Катарины, слушающей наставление Петруччио.

— Советуешь ли ты женщинам подражать Гризельде?

— Нет, — отвечал я, — этого я не сделаю. Если бы мы жили во времена Чосера, я бы это посоветовал; это не казалось бы странным. Я хочу только сказать, что человечеству предстоит долгий путь, прежде чем явится средний тип человека, достойный называться современным представителем короля Артура, — того короля Артура, о котором создалась поэтичная легенда. Надо научиться терпению.

— Представляя себе, каким зверем он был раньше, человек может потерять всякое терпение, — заметила Робина. — Ему должно быть так стыдно, что он согласится на все.

В эту минуту сова на дереве снова прокричала, от радости или негодования, трудно решить.

— Что касается женщины, — продолжал я, — если бы власть была в ее руках, сумела бы она ею воспользоваться для лучшей цели? Где найти доказательство? Все эти Клеопатры, Помпадуры, Иезавели, Елизаветы английские, последняя китайская императрица, Фаустины всех времен и народов, Лукреции

Борджиа, Саломеи — я могу тебя утомить, перечисляя всех; римские матроны; дамы Средних веков, засекавшие до смерти своих пажей; современные дамы, украшенные перьями несчастных лесных обитателей?.. Конечно, бывали и другие женщины — женщины благородные, имена которых сияют как яркие маяки среди мрака исторических времен. Бывали люди благородные и среди мужчин — святые, мученики, герои. Женщина отличается от мужчины в физическом отношении, но в нравственном женщина слишком часто была соучастницей в преступлениях мужчины, чтобы иметь право его судить. «Он создал мужчину и женщину по образу своему и по подобию» — равными на добро и зло.

В эту минуту я, к счастью, нашел спичку и закурил сигару.

— Я никогда не выйду замуж, — заметила Робина, — по крайней мере надеюсь, что не выйду.

— Почему «надеешься»? — спросил я.

— Я надеюсь, никогда не дойду до такого идиотства, — отвечала она. — Я вижу все очень ясно. Жаль. Во всяком случае, он не полюбит меня. Он узнает меня слишком поздно. Если он меня и полюбит, то разве за мою внешность: за белизну кожи, за красивые руки. Я это чувствую, и это приводит меня в бешенство. Иной раз восхищение меня не радует, напротив, только бесит. Что будет, когда чувство исчезнет? Что за этим последует? Ты должен знать. Я хочу знать правду.

Я отвечал спокойно:

— Когда любовь увяла, подобно цветку или сиянию утренней зари, вам останется все то же, что было ранее, ни более ни менее. Если вы могли внушить друг другу одну страсть, да поможет вам Господь. Вы пережили минуту безумия. Все кончено.

Если вами руководило корыстное чувство или желание поклонения — вы получили вознаграждение. Торг заключен.

Если вас заманила надежда найти счастье, вас можно пожалеть. Счастье — дар богов, не людей. Тайна хранится в вас самих, не вне вас.

То, что вам останется, зависит не от того, что вы *думали*, но от того, в чем ваша сущность: какова вы на самом деле.

Если в муже скрывается настоящий человек, а за образом богини, созданном в воображении, — честная, добрая женщина, жизнь ваша впереди: жизнь создающая, но не разрушающая.

Вот ошибка большинства. Не награда доставляет радость, но самый труд. Удовольствие любящего человека не требовать, но давать.

Венец материнства — страдание. Служить государству ценою своих сил и времени, найти приложение своим способностям и

труду, к исполнению задуманной цели, — вот к чему стремятся честолюбцы мужчины. Жизнь создает, не отнимает. Тот, кто поднимается на гору, желает достичь вершины, но не владеть ею. Глупцы те, кто женясь, рассчитывают заранее, что они от этого выиграют: радости, удовольствия, снисхождение, ласки. Награда брака — труд, долг, ответственность.

Кажется, мы просидели молча довольно долго; месяц, поднявшись над лесом, залил своим светом поля, раньше чем Робина заговорила.

— В таком случае любовь бесполезна, — сказала она. — Мы бы могли обойтись без нее, сделать лучший выбор. Если она нас тревожит на время, затем исчезает, какой смысл во всем этом?

— Ты можешь предложить тот же вопрос самой жизни, — отвечал я. — Жизнь нас тревожит, затем она исчезает. Быть может, эта «тревога», как ты говоришь, имеет свое назначение. Вулканические потрясения необходимы для созидания мира. Без них почва останется каменистой, негодной для своего назначения.

Любовь не умирает, но принимает новую форму. Цветок увядает, когда созревает плод. Влюбленный превращается в помощника, утешителя, в супруга. Мне кажется, что вся тайна брака в способности примиряться с другим человеком. Это равносильно терпению, самообладанию, всепрощению.

Для этого следует отказаться от самомнения, допуская, что и в нас самих много недостатков, требующих исправления. Для этого необходимо отказаться от многих привычек и прихотей, которыми мы дорожим. Для этого надо подчинить наши желания требованиям других; принять условия и свыкнуться с средой нам несимпатичной. Для этого необходимо полюбить сильно и глубоко, забыв мрачную сторону жизни, отказаться от ссоры, несправедливости, недоразумения, предав все это забвению. Для этого надо иметь храбрость, быть радостным и сохранять здравый смысл.

— Вот и я говорю то же самое, — объяснила Робина. — Для этого надо любить человека со всеми его недостатками.

Дик вернулся с поля. Робина встала и скрылась в доме.

— У тебя вид торжественный, папа, — заметил Дик.

— Размышляю о жизни, Дик, — признался я, — О ее значении и о возможности ее объяснить.

— Да, жизнь — задача, — согласился Дик.

— Задача не легкая, — заметил я. Мы курили молча.

— Любовь достойной женщины может оказать сильную поддержку человеку, — сказал Дик.

Он был красив, казался весел, с юношеским задором он

бросал вызов судьбе.

— Весьма сильную, — согласился я.

Робина его позвала ужинать.

Он последовал за ней в дом.

Их смех доносился до меня сквозь полуотворенную дверь.

Из мрака слышался глухой шепот.

Мне казалось, что среди молчания я слышу дальний звук гармонии вращающегося колеса Закона.

XI

Мне кажется, Вероника будет автором. Ее мать думает, что этим объясняются многие странности ее характера. Рассказ не докончен. Его отложили, о нем забыли, принявшись писать пьесу для театра.

Мне попалась на днях ее тетрадь «Краткие заметки». Они очень интересны. Делаю из них выписки. Орфография исправлена.

«Сцена происходит на луне.

Но там все то же, что на земле.

С одним исключением. Там всем распоряжаются дети, взрослые этим недовольны.

Но им ничего другого не остается.

Что-то с ними произошло? Что? Неизвестно. Мир все тот же, как в старых сказках. До грехопадения.

Ночью являются феи; они танцуют, также и ведьмы. Они вас зачаровывают, превращая вас в бездушные предметы.

В пещере скрывается дракон. Он нападает на людей и их пожирает.

Являются великаны. И всякие магические чудеса. Дети все знают.

Что с этим делать? Они обучают взрослых. Последние им не верят.

Они любят спорить. Это утомляет детей. Но дети терпеливы и справедливы.

Взрослые должны посещать школу. Им приходится много учиться.

Бедняги! Они это ненавидят.

Им сказки не интересны. Им безразлично, чем они кончаются.

Кораблекрушения на Необитаемом острове. А разные языки?

Это им пригодится, когда они будут детьми. Им придется говорить с разными животными.

Заняться магией. Она глубока.

Это им ненавистно. Они считают это вздором. Они на выдумки хитры. Читают пустые романы.

Под столом. Все о любви. На их учение бросают напрасно детские деньги. А заработать их трудно.

Но дети им прощают, вспоминая, что они сами чувствовали, будучи взрослыми. Твердость прежде всего.

Дети им дозволяют соблюдать праздники. Они полезны тем, что освежают вас.

Но взрослые очень глупы. И не любят умных игр. Как,

например, игр в индейцев или в пиратов.

Это могло бы помочь развитию их способностей на будущее время. Они только любят играть в мяч.

Это ни к чему. Для суровой действительности. Или говорить! Боже, как они говорят!

Есть один взрослый! Он очень умен. Может рассуждать обо всем.

Но это ни к чему. Только портит дело. Его отправляют спать.

Есть еще два взрослых. Мужчина и женщина. Они говорят о любви. Все время. Даже в хорошую погоду.

Что довольно скучно. Но дети терпеливы. Они надеются, что это со временем пройдет.

Есть и умные среди взрослых. Они служат утешением своим детям.

Все, что любят дети, хорошо и полезно. Все, что любят взрослые, для них вредно. И им нельзя давать всего. Они требуют чая и кофе. Это расстраивает нервную систему. И напрасно тратят деньги по гастрономическим магазинам. На котлеты. И черепаховый суп.

Детям приходится их укладывать в постель. Давать им лекарство. Пока они не поправятся.

Есть девочка по имени Прю. Она живет с мальчиком Семеном.

Они хорошо ладят. Но не все понимают. У них двое взрослых. Мужчина и женщина. По имени Петр и Марта. Они люди самые обыкновенные. Ни хуже ни лучше. Многое можно из них сделать. Добротой. Но Прю и Семен *плохо взялись за дело*. Весь день они их бранят. Никогда не хвалят. Никогда!

Однажды летом Прю и Семен повели Петра на прогулку. Навстречу корова. Хорошее средство испытать знание Петра в языках. Они его просят поговорить с коровой. Та их не понимает. Он не понимает коровы. Они приходят в бешенство. «К чему, — говорят они, — платим мы так дорого за то, что вас учат языкам». Первоклассные коровы. Когда вы попадаете в деревню, вы не умеете говорить.

Он утверждает, что умеет. Но они его не слушают, продолжая выходить из себя.

Наконец все объясняется. Эта корова была родом из Джерсея. Она объяснялась на тамошнем наречии. Поэтому Петр ничего не понял. Разве они извинялись? Конечно, нет!

В другой раз. Это было утром, во время завтрака.

Марте не понравилась настойка из малины. Она отказалась ее выпить. Симон вошел в комнату.

Заметил, что Марта не пьет настойку. Спросил почему? Она

ответила, что настойка не вкусная.

Он это отрицал. Уверял, что она должна ее пить. И как неприятно, что взрослые всегда недовольны. Хорошей, здоровой пищей, доставляемой им добрыми детьми. Если б он был взрослый, он бы не посмел отказаться, и так далее.

Все в том же роде. В доказательство он налил себе чашку малины и выпил. Залпом. Он уверял, что напиток превосходный. А сам вдруг побледнел и вышел из комнаты.

Прю вошла в детскую. Заметив, что Марта не выпила малиновую настойку, она ее спросила почему.

Марта ответила, что настойка не вкусна.

Прю ее пристыдила, уверяя, что настойка — напиток полезный и хороший.

Она должна его одобрить. Не напиваться же ей чаем или кофе. Их ей не дадут. Этим все кончится. И так далее. В доказательство она выпила целую чашку. Залпом. Сказала, что напиток хорош. Побледнела. И вышла из комнаты.

Оказалось, что это вовсе не была малиновая настойка. Но просто красные чернила, которые попали в графин из-под настойки. По ошибке.

Им бы не пришлось заболеть, если бы они послушались доброй Марты. Так нет же!

У них были свои взгляды, от которых они ни за что не хотели отказаться. Что взрослые ничего не понимают. Это была ошибка, как оказалось позднее».

Были наброски и в другом роде, сделанные крупными штрихами, но затем оставленные. Трудность избегнуть слишком близкого сходства с живыми оригиналами, очевидно, остановила Веронику.

Против подобной попытки представить Дика в настоящем свете была сделана заметка на полях: «Лучше оставить. Пожалуй, обидится».

Напротив другого портрета, очевидно миссис Сен-Леонар, заметила: «Слишком верно, к сожалению. Надо уничтожить».

Другая характеристика какого-то господина: «Не лишен таланта. Для рассказов. Некоторые *не дурны*».

Многообещающая коллекция в общем. Судя по описанию, есть один человек рациональный: «когда не бредит. Но непоследовательный».

Он взрослый, она маленькая девочка: «она не красива, но привлекательна. Мы ее назовем Энида». Понятно, что если бы все дети превратились в Энид, не осталось бы желать ничего лучшего.

Он единственный родственник маленькой девочки. Но она

считает своей обязанностью исправлять всех неисправимых стариков, в которых другие дети отчаиваются. Она надеется на них подействовать добротой. Она *всегда* терпелива. И справедлива.

Первый среди ее многочисленных proteges — военный человек, старый полковник; пока она им не занималась, он мог служить примером того, чем может сделаться человек, предоставленный заботам неопытных детей.

Он выражался грубо, повторяя слова, подслушанные у пиратов, «конечно, не понимая их ужасного значения».

Он прячет сигары в дупло деревьев и курит исподтишка.

Он разыгрывает лентяя. Отвлекает стариков от учения. Их находят в лесах, в подвалах за картами, играющих на шестикопеечную ставку.

Разве Энида выходит из себя и неистовствует? Разве она угрожает им пожаловаться дракону, в случае если ей попадет еще хоть одна карта на глаза. Тому дракону, который от гнева будет готов убить полковника и проглотить его? Нет. Нет, она не пользуется такими средствами. Вместо этого она снисходительно улыбается, говоря, что взрослые любят играть в карты, что весьма естественно; она на них не сердится. Ему нечего убегать и прятаться в сыром подвале. «Она намерена сама с ним поиграть в карты». Это замечание производит впечатление на полковника. Он проливает слезы. Она предлагает поиграть в карты в саду, после учения. Если он был *умен*.

Наконец полковник излечивается от своего пристрастия к картежной игре… Считать ли это последствием ее влияния — остается неизвестным, об этом не упоминается в «записках».

Что касается создания пьесы, Вероника, как я знаю, сочинила ее не одна, но при постороннем содействии.

Постройка дома была закончена в сентябре. Молодой Бьют делал чудеса. Мы играли эту пьесу в пустой бильярдной; за ней следовала другая пьеса в одном акте моего сочинения. По этому случаю дом обогрелся. Набралась толпа зрителей, и все закончилось танцами. Все очень веселились, за исключением Берти Сен-Леонар; он играл принца и не мог снять своего шлема перед ужином. Шлем хорош, но его неудачно надели. Несведущие люди, желая помочь ему освободиться от шлема, помогли еще крепче завертеть винт. Его не только нельзя было снять, но даже найти отверстие, чтобы актеру можно было напиться. Всех это рассмешило, исключая молодого Герберта Сен-Леонара. Наш мэр, веселый старичок, уверял, что об этом надо напечатать в юмористическом журнале. Местный корреспондент напомнил ему, что покойный Джон Лич уже упоминал о подобном

инциденте и воспользовался им для комичной иллюстрации. Ему казалось, что этим дело кончится. Но Сен-Леонар и викарий, — вообще соперники по авторитету, которым пользуются каждый из них, — заспорили о вооружении в XIV столетии и поочередно старались доказать справедливость своей теории на голове мальчика. Нам пришлось отправить молодого Гопкинса в тележке, запрягши ослика, за кузнецом. Теперь я понял, каким способом Гопкинс пользуется, чтобы сдвинуть с места этого ослика. Гопкинс уверяет, что его способ гораздо лучше, чем беспощадное битье. Тем более, что на деле ослик вовсе не понимает, за что его колотят. Пожалуй, придется согласиться с этим мальчиком.

Дженни играла роль бабушки в седом парике и в фижмах. Из нее выйдет со временем прелестная старушка. Седые волосы ей очень к лицу, они придают ей много изящества. Я недоверчиво осматривался, сожалея, что мы пригласили столько молодых людей. Дик меня беспокоит. Сознание собственных недостатков, возникшее в нем внезапно, его угнетает. Но это сознание ему полезно. Однако я не хочу, чтоб из-за него он потерял Дженни. Она, насколько я могу судить, ему пара. Добрые люди находят свое счастье в возможности помогать другим. Когда-то я знал одну прекрасную молодую девушку, трудолюбивую и благоразумную. Она ошиблась, выйдя замуж за отличного человека. Ей нечего было делать. Она перестала им интересоваться, посвятив свои силы воспитанию мальчиков, находящихся в исправительном заведении. Это очень жаль: многие женщины были бы рады иметь такого мужа.

Обыкновенный греховный человек нашел бы в ней поддержку. Я должен серьезно переговорить с Диком. Я ему укажу, какой он подходящий муж для нее. Я уверен, что он может дать ей счастье на всю жизнь.

Вероника играла роль принцессы с маленьким Фуа — «роковым сэром Робертом» — в виде пажа. Что-либо более удачное редко появлялось на английской сцене.

Дик играл «Дракона без хвоста». Мы должны были лишить его хвоста; ввиду малых размеров сцены. Хвост у него некогда был. Но это длинная история; к тому же не было времени ее пересказывать. Маленькая Салли Сен-Леонар представляла жену. Робина — тещу.

Все зависит от настроения.

Сколько бед можно было устранить, если бы наука изобрела барометр для предсказывания перемены настроения. Как бы мы могли хорошо устроиться, зная, что в понедельник, например, мы будем легкомысленны, в субботу мрачны и в дурном

расположении духа.

Я раз пригласила знакомого посмотреть пьесу «Частный секретарь». В начале мне было весело, в конце досадно на весь план пьесы. Возможность писать подобные пьесы и согласие актеров их исполнять, к стыду человеческой природы, объяснялось законом спроса и предложения. Что было, например, смешного в зрелище человека, запертого в ящике? Почему все должны хохотать, когда спрашивают булку? Люди ежедневно покупают булки — на станциях, в ресторанах и в булочных. В чем шутка? Что в этом смешного?

Если бы я мог предвидеть, я бы знал вперед, что в этот день я буду недоволен. Вместо того, чтобы взять билет на пантомиму, я бы пошел слушать лекции о египетских изделиях, которую читал один из моих друзей в Лондонской библиотеке.

Дети могли бы «зондировать» родителей, предупреждая друг друга, что с отцом надо держать «ухо востро», а мать бранится. Сами дети могли бы следить за барометром. Я помню дождливый день на даче под Рождество. Между нами находится член парламента, человек веселый, любивший детей. Находя, что детям скучно сидеть в детской взаперти, он вывернул наизнанку шубу и представлял медведя. Он ползал на коленях, рычал; дети, сидя на диване, смотрели на него. Но им это не казалось смешным, он и сам это вскоре заметил. Думая, что медведи надоели детям, он вообразил, что вид кита их позабавит. Опрокинув стол и усадив в него детей, он им объяснил, что они должны изображать матросов, потерпевших кораблекрушение. Что им угрожает нападение кита, который может опрокинуть их лодку. Накрыв простыней деревянную вешалку, изображавшую ледяную гору, он завернулся в макинтош и, ползая по полу, ударяясь головой о стол и предупреждая их об опасности. Дети оставались молчаливыми зрителями. Младший подал мысль, вооружившись вилкой, употребить ее вместо гарпуна, но эта выдумка не встретила сочувствия; предложение было отклонено по несогласию кита. Затем член парламента забрался на буфет, объявив, что он представляет собою орангутанга. Дети видели, как он нечаянно разбил миску. Тогда старший мальчик, выступив на средину комнаты, поднял руку. Член парламента, желая его выслушать, уселся на полке.

— Извините, сэр, — сказал мальчик, — нам очень жаль. Вы очень добры. Но мы сегодня больше не желаем видеть диких зверей.

Член парламента пригласил их в гостиную, где играла музыка. Детям позволили петь гимны. На другой день они пришли сами и просили члена парламента повторить игру с

дикими зверями; но ему не было времени, он был занят письмами.

Пьеска всем понравилась. Викарий уверял, что он где-то видел эту пьесу ранее, но это невероятно. Автора многократно вызывали, причем за кулисами происходили пререкания. Наконец появилась вся труппа с Вероникой в середине. Я вижу в ней задатки первоклассной актрисы.

В следующей пьесе, моего сочинения, Робина и Бьют играли роль новобрачных, которые не знают, как приняться за ссору. Мне всегда казалось, что люди гораздо лучше ссорятся на сцене, чем в действительности. На сцене человек, решившись затеять ссору, входит и запирает дверь, он закуривает папиросу; если же он член общества трезвости, то наливает себе стакан содовой воды с вином. В это время его жена хранит глубокое молчание. Очевидно, он собирается ей сказать нечто неприятное, а болтовня может его рассеять. Пока он готовится к объяснению, она пробегает страницы нового романа или тихо ударяет по клавишам. Он переходит к вопросу с спокойствием человека, свободно распоряжающегося своим временем.

Она слушает его с напряженным вниманием, не думая ему противоречить, боясь прервать нить его мыслей. Она ограничивается краткими заключениями в таком роде: «Хорошо. Ты так думаешь. Положим, что все это так». Вставляя эти слова только тогда, когда он останавливается, чтобы перевести дыхание. И изредка укоризненно просит продолжать. Он продолжает. Наконец, когда он намеревается покончить свою речь, она обращается к нему, как партнер в игре, со словами: «Все ли ты сказал? Нет ли чего еще?» Иногда этим дело не кончается, и он самое лучшее приберегает к концу.

— Нет, — отвечает он, — это еще не все. Остается еще кое-что.

Этого для нее достаточно. Больше ей и знать не надо. Она предложила вопрос на всякий случай. Если вопрос не исчерпан, жена усаживается в кресло и приготовляется слушать. Когда он высказался, она встает в свою очередь.

— Я терпеливо вас выслушала, — заявляет она.

(Сам черт этого бы не мог отрицать. Слова *терпеливо* недостаточно, можно бы выразиться: с *самоотречением*.)

— Теперь, — продолжает она, повышая голос, — выслушайте вы меня.

Господин, в роли супруга, вежливо кланяется, немного натянуто, приготовляясь исполнить с достоинством роль ответчика. Чтоб подчеркнуть перемену их положений, дама переходит на ту сторону сцены, где он находился ранее, тогда как

он, в то же время, переходит на противоположный конец комнаты. Затем мы выслушиваем всю историю с ее точки зрения. На этот раз джентльмен хранит молчание, не желая мешать даме высказаться. В конце побеждает тот, кто был прав. В действительности все дело кончается более или менее бурно. На сцене никогда. Если правда на стороне мужа, его голос, постепенно повышаясь, раздается торжественно по всему дому. Дама, убедившись в своей вине, удивляется, как она не поняла этого раньше, благодарит за урок и просит прощения. Если же, с другой стороны, вина на стороне мужа, дама займет место на средине сцены, а несчастный муж, чувствуя свое унижение, постарается исчезнуть под стол. В действительности же дело происходит немного иначе. На деле спор ведется несистематично. Нет ни порядка, ни определенного плана. В действительности ссора ведется как попало и в результате кончается ничем. Муж, занятый своим бритьем поутру, решается все высказать и покончить это дело. «Он знает наперед, что будет говорить. Он сам себе все повторяет в течение дня, решая сказать одно раньше, другое позднее. Ему кажется, что это займет не более четверти часа. Он еще успеет одеться к обеду.

Когда все кончено, оказывается, что на это потребовалось времени гораздо больше. К тому же он почти ничего не сказал. Дело не ладилось с самого начала. Он вошел в комнату, затворяя за собою дверь. Дальше дело не пошло. Папиросы он не закуривал. За фотографией на камине должна была находиться коробочка спичек. Конечно, ее не оказалось. Жена выходит из себя, вспоминая, что про спички говорилось сотни раз прежде. Она обвиняет его в том, что он похищает собственные спички.

Целых пять минут продолжается спор между ними, а затем они ссорятся еще десять минут из-за того, что муж сказал, будто женщины не понимают, что такое юмор, а жена пристала к нему, откуда он это знает. После того она подсчитала последнюю четверть счета за электричество и какими-то таинственными путями разговор коснулся вечера в хоккей-клубе. Муж уверял, что он в эту ночь вернулся домой не позже обыкновенного, и ему только что удается снова перейти к интересовавшему его предмету, как в комнату ворвалась простоволосая служанка от соседей с просьбой одолжить камертон. Конечно, камертон оказалось найти не так-то легко, и, когда она ушла, разговор пришлось начать снова.

Это взяло больше полутора часа, и чтоб билеты в театр не пропали даром, пришлось отправиться без обеда. Вопрос о спичках так и остался открытым.

Мне пришло в голову, что с помощью драмы можно доказать,

как легко внести улучшение в домашние ссоры. И я написал пьеску, которую сыграли. Адольфус Гудбоди, достойный молодой человек, глубоко привязанный к жене, тем не менее, чувствует, что обеды, которыми она его кормит, постоянно угрожают его пищеварению. Он решается, во что бы то ни стало, добиться изменения. Эльвира Гудбоди, прелестное существо, искренне любящая своего мужа, тем не менее способна иногда *вскипеть*, особенно когда дело коснется ее хозяйственных распоряжений. Взвинтив свое мужество до последней степени, Адольфус приступает к щекотливому вопросу, и я намеревался посвятить всю первую половину акта развитию домашней ссоры, не такой, какая она должна была бы быть, но такой, какова она есть. Слово «кухарка» между ними не произносится. Первое упоминание слова «обед» заставляет Эльвиру, быстро заметившую, что на горизонте собираются темные тучи и спешащую воспользоваться преимуществом первого выпада, вспомнить, что два раза в прошлом месяце муж обедал не дома и вернулся только на рассвете. Теперь она желает знать, будет ли конец подобным вещам. Если участие в масонских заседаниях влечет за собой распадение семейной жизни, то ей остается только сказать… Но оказывается, что остается сказать… еще очень многое. Адольфус — когда ему удается вставить свое слово, — возражает, что про одиннадцать часов вечера вряд ли можно сказать «на рассвете», и что «женщины никогда не ограничиваются одной чистой правдой». С этой точки сцена, так сказать, пишется сама собой. Ссорящиеся проходят все обычные ступени и с преувеличенным спокойствием начинают обсуждать план развода, который, как оба теперь убеждены, кажется неизбежным, когда вдруг у двери раздается стук и входит общий друг.

Супруги поспешно стараются скрыть следы душевного разлада, которым насыщен воздух, но им не удается провести друга. Он замечает, что по спокойной поверхности согласия пробежала рябь, и допытывается, что случилось.

— Что случилось? — Муж и жена переглядываются. Конечно, проще всего ответить, что ничего не случилось, а разговор коснулся и попугая, и недостаточной аккуратности со стороны жены, и того, что муж употребил нож для масла, чтобы разрезать пастилу, и потерял туфли на Рождество; касались также вопроса о воспитании, и счета портнихи, и друга мужа, Джорджа, и соседской собаки…

Общий друг прерывает перечисление. Ясно, что спор готов возгореться снова; но на этот раз, если они захотят отдаться в его руки, он обещает победу тому, кто прав.

Эльвира — у нее кроткий, хотя вспыльчивый характер —

бросается ему на шею.

— Ей только того и надо! Лишь бы можно было убедить Адольфуса…

Адольфус схватывает друга за руку.

— Лишь бы только Эльвира выслушала его.

Общий друг — он старый театральный режиссер — устраивает сценарий.

Эльвира сидит у камина в кресле и вяжет крючком. Входит Адольфус.

Он зажигает сигаретку и бросает спичку на пол. Затем ходит взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы; мимоходом отбрасывает ногой скамеечку, попавшуюся на дороге.

— Скажите, когда мне начать, — шепчет Эльвира. Общий друг обещает дать ей надлежащее указание. Адольфус останавливается посередине комнаты.

— Мне крайне, крайне прискорбно, — начинает он — но я должен сказать вам одну вещь… которую, может быть, вам будет не совсем приятно выслушать.

На это Эльвира, не переставая вязать, должна ответить:

— Что же это такое?

Но Эльвира с этим не согласна. Она вскакивает со стула и, прежде чем общий друг успевает удержать ее, у нее вырывается:

— Послушай! Если ты вернулся домой только для того, чтобы дразнить меня…

До сих пор общий друг держался твердо. Но за хороший исход он может ручаться только при безусловном повиновении. Эльвире следовало бы сказать только:

— В самом деле?

Общему другу пришлось призвать на помощь весь свой такт, чтобы разговор не принял оборот ссоры между ими троими.

Адольфусу было позволено продолжать, и он объяснил, что его первоначальным намерением было поговорить об обеде. Друг на этот раз успел предупредить ссору.

Эльвира сказала:

— Об обеде! Ты жалуешься на обед, который тебе подают?

На это Адольфус смог ответить:

— Да, именно жалуюсь. — И привел свои доводы.

Эльвире казалось, что общий друг лишился рассудка. Говорит ей: «Подождите! Ваше время придет!..» Какая из этого польза? Тем временем половина того, что она собиралась сказать, вылетит у нее из головы.

Адольфус договорил свою критику на кухню Эльвиры до конца, и после того Эльвира, не будучи в состоянии сдержать себя, величественно поднялась с кресла.

Общий друг был избавлен от труда сдерживать Адольфуса. Пока Эльвира не договорила до конца, Адольфусу не удалось даже открыть рта.

— Он недоволен обедом! Он, который ежедневно может обедать с своими масонами. Неужели он думает, что обеды эти нравятся ей больше? Ей, обреченной на сидение дома и съедание их! За кого он ее принимает? За страуса? Чья вина, что они держат неумелую кухарку, слишком старую, чтобы учиться, и слишком упрямую для того.

В чьей семье эта кухарка состарилась? Не в семье Эльвиры. Только из желания угодить мужу она терпела ее. И вот благодарность! Да!

Она, обессиленная, опускается в кресло. Адольфус изумлен и смущен. Он сам всегда недолюбливал эту женщину (кухарку). Может быть, она и предана, но хорошей кухаркой никогда не была. Если бы с ним посоветовались, он бы предложил назначить ей небольшую пенсию. Эльвира бросается Адольфусу на шею.

— Отчего ты раньше не говорил мне этого?

Адольфус прижимает ее к сердцу.

— Если бы я только знал!

Они обещают общему другу никогда впредь не ссориться без его помощи.

Исполнение было хорошее. Наш пастор, холостяк, сказал, что это для него урок. У Вероники на глазах были слезы. Она шепотом сообщила мне, что находит пьесу великолепной. Вероника умнее, чем все думают.

XII

Мне досадно, что переделки в доме окончены. Есть пословица: «Дураки строят дома, чтобы в них жили умные люди». Ну, это смотря что кому. Дурак получает удовольствие, а умный — кирпичи и цемент. Помню одну курьезную историю, которую подцепил много лет тому назад на железнодорожной станции. Я прочел ее между Парижем и Фонтенбло. Трое друзей, из молодой богемы, покуривая трубочки после скудного обеда в дешевеньком ресторанчике Латинского квартала, начали раздумывать над своей бедностью и долгой тяжелой борьбе, предстоящей еще им.

— Мои темы очень оригинальны, — вздыхал музыкант. — Но пройдут годы, пока я научу публику понимать их, если вообще когда-нибудь это удастся мне. А между тем я буду жить в неизвестности, в бедности; люди, не имеющие идеалов, будут обгонять меня, обдавая меня грязью, разбрасываемой их экипажами, а я буду трепать обувь о мостовую. Право, нет справедливости на свете.

— Проклятый этот свет! — согласился поэт. — Но подумайте обо мне! Моя судьба еще тяжелее вашей. Ваш дар у вас в душе. Я обязан передавать то, что меня окружает, и это — я предвижу — всегда останется темной стороной моего существования. Моя душа изнывает по красивым сторонам жизни. Небольшая доля богатства, расточаемого людьми обыкновенными, дала бы Франции великого поэта. И я думаю не об одном себе…

Художник засмеялся.

— Я не могу взлетать на вашу высоту, — сказал он. — Откровенно говоря, я имею, главным образом, в виду самого себя. Почему же не поступать так? Я даю обществу красоту; что же оно дает мне в отплату? Этот замечательный ресторан, где из отвратительной посуды ешь кушанье с душком, да конуру на чердаке, где ютишься.

После многих лет плохооплачиваемой работы я могу — подобно другим, жившим раньше меня — попасть в свое царство, иметь свою студию на Елисейских Полях, красивый дом в Нельи; но, правду сказать, промежуточный период пугает меня.

Погруженные в себя, они не заметили, что какой-то человек, сидя у соседнего столика, внимательно слушал их.

Незнакомец поднялся и, с вежливой непринужденностью извинившись за то, что, почти помимо воли, вслушивался в их разговор, попросил позволения быть им чем-либо полезен. Ресторан был освещен слабо, и друзья, войдя, выбрали своим местопребыванием самый темный уголок. Незнакомец оказался

хорошо одет; до речам и манерам его можно было принять за человека делового; лицо его при слабом свете, падавшем сзади, оставалось в тени.

Трое друзей искоса взглянули на него, принимая его за какого-нибудь богатого, но эксцентричного покровителя искусства.

Вероятно, он познакомился с их произведениями, прочел стихи поэта в каком-нибудь небольшом журнале, наткнулся на какой-нибудь этюд художника, посещая лавку какого-нибудь перекупщика в Сент-Антуанском предместье, поразился красотою ноктюрна в *F-моль*, принадлежащего композитору и слышанного в ученическом концерте, и, собрав сведения о их борьбе с нуждой, выбрал такой способ познакомиться.

Молодые люди очистили ему место, смотря на него со смесью любопытства и надежды. Незнакомец предупредительно заказал подать вина и предложил сигары из своего портсигара.

Уже первые его слова принесли друзьям радость:

— Прежде чем идти дальше, — сказал незнакомец, улыбаясь, — я с удовольствием сообщу вам, что все вы станете знаменитостями.

Вино оказало действие на их непривычные головы. Сигары незнакомца были необыкновенно ароматны. Казалось самой естественной вещью в мире, что незнакомец может предсказывать будущее.

— Вы приобретете и славу и богатство, — продолжал приятный незнакомец. — Все приятные веши станут вам доступны: поклонение, почет, каждение общества, духовные и материальные наслаждения, очаровательная обстановка, избранные друзья, всевозможная роскошь и удобства, — весь мир для вас будет ареной наслаждений.

Грязные стены ресторанчика, казалось, расплывались в пространстве пред глазами молодых людей.

Они зрели себя богами, гуляющими по садам, олицетворяющим их мечты.

— Но, увы, — продолжал незнакомец, и при первых звуках его изменившегося голоса видение исчезло, грязные стены появились снова, — все это требует времени. Все вы трое уже перейдете за зрелый возраст, прежде чем начнете пожинать справедливую награду за свою работу и таланты. А тем временем, — симпатичный незнакомец пожал плечами, — будет старая история: гении будут проводить молодость в борьбе с равнодушием, насмешкой, завистью; тяжелая обстановка вместе с нищетой и однообразием жизни будет давить их дух.

Будут еще зимние ночи, когда вы будете бродить по улицам

иззябшие, голодные, одинокие; повторятся летние дни, когда вы будете прятаться по углам, стыдясь своего потертого платья; узнаете холодные утренние сумерки, при которых будете наблюдать за страданиями любимых людей, не имея возможности, из-за своей бедности, облегчить их мучения.

Незнакомец замолк, пока старый слуга наполнял опустевшие стаканы.

Трое друзей стали молча отхлебывать.

— Я предлагаю, — сказал незнакомец с приятным смешком, — миновать обычный период испытания, перескочить через промежуточные годы и сразу достигнуть нашего настоящего назначения.

Незнакомец, откинувшись на спинку стула, смотрел на троих друзей с улыбкой, которую они скорее чувствовали, чем видели. И что-то в нем — они не могли определить, что именно — заставляло думать, что для него все возможно.

— Это очень просто, — уверял он их. — Заснуть на некоторое время и забыть, и года окажутся лежащими позади вас. Ну, что же, господа, согласны вы?

Вопрос, казалось, вряд ли требовал ответа. Сразу оставить позади себя долгую, тяжелую борьбу; без боя торжествовать победу! Молодые люди переглядывались. И каждый, думая о том, что получит, готов был предпочесть добычу битве.

Им показалось, что огни вдруг погасли, как будто бы вихрь перенес друзей туда, где слышались всевозможные звуки, и их окутал мрак. А затем — забвение. И опять возвращение света.

Они сидели за столом, сверкавшим серебром и красивым фарфором. Красное вино искрилось в венецианских кубках, разнообразные фрукты и цветы вносили приятную пестроту. Слишком роскошно отделанная, чтобы назваться изящной, комната показалась им кабинетом одного из больших ресторанов. Такие помещения им иногда случалось видеть мельком сквозь открытые окна в летние ночи. Комната была освещена мягким светом ламп под абажурами. Лицо незнакомца оставалось в тени. Но что изумило каждого из трех друзей — это что каждый увидал напротив себя еще двух джентльменов с порядочными лысинами и довольно потрепанными физиономиями, черты которых казались им странно знакомыми. Незнакомец поднял бокал с вином.

— Наш дорогой Поль, — начал он, — отверг с своей обычной скромностью всякое публичное чествование; но он не откажется признать за старыми друзьями право принести ему сердечное поздравление. Джентльмены, пью не только за здоровье нашего дорогого Поля, но за Французскую академию, которая, оказав

почет ему, почтила всю Францию.

Незнакомец, встав, устремил свои проницательные глаза — единственную часть лица, которую можно было ясно рассмотреть, — на изумленного поэта. Два пожилых господина напротив, очевидно, изумленные не менее Поля, следуя примеру незнакомца, опорожнили свои стаканы и, опять-таки по его примеру, перегнувшись через стол, горячо пожали руку Полю.

— Прошу извинения, — заговорил Поль, — но, право, я боюсь, не заснул ли я. Может быть, вам покажется странным, — он обратился к незнакомцу, так как лица джентльменов, сидевших напротив, ничего ему не объясняли, — если я вас спрошу, где я?

Снова на лице незнакомца мелькнула улыбка, которая скорее чувствовалась, чем была видима.

— Вы в настоящее время обретаетесь в отдельном кабинете кафе Претали, — ответил он. — Мы сошлись сегодня, чтобы отпраздновать ваше возведение в сан бессмертных.

— О, — сказал поэт, — благодарю вас.

— Академия всегда несколько опаздывает в делах подобного рода. Я с своей стороны желал бы, чтобы ваше избрание состоялось уже десять лет тому назад, когда вся Франция, т. е. вся Франция, идущая в счет, говорила о вас. В пятьдесят три года, — незнакомец слегка дотронулся до жирной руки поэта, — уже не пишут так, как тогда, когда жизненные силы растут, а не уменьшаются.

Медленно в памяти поэта проснулось воспоминание о бедном ресторанчике в улице Сен-Луи и о странной встрече, происшедшей там однажды в дни его молодости.

— Могу ли я попросить, если это не будет слишком затруднительно для Вас, сообщить мне, что, собственно, случилось со мной? — попросил поэт.

— Вовсе не затруднительно, — отвечал приятный незнакомец. — Ваша карьера была чрезвычайно интересна в течение первых пяти лет, главным образом, для вас самих. Вы женились на Маргарите. Вы помните Маргариту?

Поэт помнил ее.

— Это был безрассудный поступок, как сказали бы многие, — продолжал незнакомец. — У вас обоих не было ни гроша. Я же думаю, что вы поступили правильно. Молодость бывает раз в жизни. И в двадцать пять лет наше дело — пользоваться жизнью. Без сомнения, женитьба помогла вам. Вы вели идиллическую жизнь в вашем домике с садиком в Сюрепе. Вы были, конечно, бедны, как церковные крысы. Но кто боится бедности, когда впереди надежда. По моему мнению, вы написали свои лучшие

вещи в Сюрепе. Прелестные, нежные вещи. Ничего подобного не существовало до вас во французской поэзии. В то время на них не обратили внимания, но десять лет спустя публика стала по ним сходить с ума. Маргариты уже не было в живых. Тяжелую борьбу ей пришлось вести. А как вы знаете…. она всегда была хрупкого здоровья. Но самая ее смерть, как мне кажется, принесла вам пользу. В вашей поэзии зазвучала новая нота, появилась глубина, которой до тех пор не хватало. Ваша привязанность к Маргарите было лучшее из чувств, когда-либо испытанных вами.

Незнакомец снова наполнил свой стакан и передал графин дальше. Но поэт не обратил внимания на вино.

— А затем… да, затем последовала ваша экскурсия в политику. Зажигательные статьи, которые вы писали для *Liberté*. Без преувеличения можно сказать, что они произвели переворот в политических взглядах Франции. А ваши чудные речи в Анжере во время избирательной кампании. Как народ преклонялся перед вами! Если б вы продолжали, вы могли бы получить портфель. Но вы, поэты, — люди такие непостоянные. И в конце концов, мне кажется, вы достигли больше всего своими театральными пьесами. Помните вы?.. Да нет, куда вам!.. первое представление *Победы*. Я его никогда не забуду. Я всегда считал это представление венцом вашей карьеры. Что касается вашей женитьбы на мадам Дешенель, не думаю, чтобы она клонилась к общественному благу. Тут имелись в виду миллионы Дешенеля, не правда ли? Поэзия и миллионы уживаются между собой. Но, тысячу извинений, милый Поль. Вы потрудились так много, что вполне естественно желание устроить свою жизнь поудобнее. Ваша работа кончена.

Поэт не отвечал. Он сидел, как бы обратив взор внутрь себя.

Что же принесли годы художнику и музыканту?

Незнакомец и им рассказывал о всем, что миновало их: об огорчениях и печалях, о надеждах и опасениях, которых они никогда не испытали, о слезах, оканчивающихся смехом, о страданиях, придающих сладость радости, о торжестве, пришедшем к ним в те дни, когда торжество еще не потеряло своего обаяния, о неудовлетворенных желаниях, которых они никогда не познают. Все кончено. Незнакомец дал им, что обещал, чего они желали: достижение цели без борьбы за ее достижение.

Тут они не выдержали.

— Что мне, — кричал художник, — из того, что я проснулся с медалью салона на шее, лишенный возможности вспомнить все, доставившее мне эту медаль!

Незнакомец указывал ему, что он нелогичен. В подобных

воспоминаниях заключалось бы также воспоминание о бесконечном ряде скудных обедов по плохим ресторанчикам, об упорной работе, о жизни, проведенной большею частью среди некрасивой оостановки. ведь он стремится избавиться от всего этого. Поэт молчал.

— Я просил только признания, — кричал музыкант, — желал, чтобы люди слушали меня; я вовсе не стремился к тому, чтобы мою музыку брал от меня, платя мне, разбогатевший барышник. Мое вдохновение выгорело, я это чувствую. Музыка, некогда наполнявшая мою душу, умолкла.

— Она родилась среди нужды и тревог, — объяснил ему незнакомец, — она была порождением умершей любви, поблекших надежд, ударов крыльев вашей юности о железные прутья горести; она была чадом безумия и муки, называемых жизнью, — той борьбы, от лицезрения которой вы отшатнулись.

Поэт заговорил:

— Вы похитили у нас жизнь! — кричал он. — Вы говорите нам о мертвых устах, поцелуев которых мы никогда не чувствовали, о песнях славы, которые пели нашим глухим ушам. Вы отняли у нас огонь, оставив нам только пепел.

— Да, огонь, который жжет и опаляет, — возразил незнакомец, — уста, стонавшие от боли, победу, купленную ценой ран… Но еще не поздно; все это может превратиться в тяжелый сон, который будет рассеиваться с каждой минутой. Хотите выкупить свою юность ценою жизненных удобств? Хотите приобрести обратно жизнь ценою слез?

Они закричали в один голос:

— Возвратите нам юность с тяготами и мужеством их переносить. Возвратите нам жизнь с ее смесью горечи и сладости!

И вдруг незнакомец предстает перед ними в своем настоящем образе.

Они увидали, что он — сама жизнь, жизнь, родившаяся из борьбы, окрепшая в попытках достигнуть желаемого; жизнь, которую страдание научает петь.

Затем следовало еще несколько рассуждений, поразивших меня, как ошибка, когда я читал этот рассказ; потому что все, что незнакомец сказал друзьям, они уже теперь узнали: они знали, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, надо жить; что для того, чтобы наслаждаться победой, надо одержать ее.

Они проснулись в скромном ресторанчике улицы Сен-Луи. Старый слуга составлял стулья один на другой, собираясь запирать ставни. Поэт вынул несколько мелочи и спросил, сколько следует заплатить.

— Ничего, — отвечал слуга.

Незнакомец, сидевший с ними перед тем, как они заснули, заплатил по счету.

Друзья переглянулись, но никто не сказал ни слова.

Улицы опустели. Шел мелкий дождь. Друзья подняли воротники пальто и пощди в темноту. И когда их шаги гулко отдавались по блестящей мостовй, каждому из них показалось, что он идет новым, смелым шагом.

Досадно мне за Дика — за десятки тысяч счастливых, здоровых молодых людей, о которых пекутся родные и типом которых служит Дик. На свете должны быть миллионы юнцов, никогда не знавших голода и только разве испытывающих легкий аппетит перед обедом; не знающих, что такое усталость, после которой нельзя рассчитывать на ожидающую их удобную постель.

Для обеспеченного мужчины или женщины жизнь навсегда останется детской комнатой. Утром их будят не слишком рано, не прежде, чем их комната выметена и приготовлена и огонь зажжен, — будят тихонько, подавая чашку чая, чтобы подкрепить их силы и внезапным пробуждением не причинить им головной боли. Шторы при этом тщательно приспущены, чтобы задерживать бесцеремонное солнце, которое иначе своими лучами могло бы коснуться их глазок и потревожить их. Подогретая до приятной температуры вода уже приготовлена. Они сами умывают себе ручки и личико.

Затем их бреют и причесывают; маникюрша занимается их ручками, и им срезают мозольки.

Когда туалет окончен, идут завтракать; их усаживают на стульчики, подают салфеточки; вкусное кушанье, полезное для них, кладется перед ними на тарелочки; питье наливается в стакан. Если им угодно играть — пожалуйте в детскую. Им только стоит сказать доброй нянюшке, в какую игру они хотят играть. Сейчас же приносятся игрушки. Им в руки дается ружьецо; из угла выкатывается лошадка; их ножки осторожно вставляются в стремена. Из ящика вынимается мячик и волан.

Или им вздумается подышать воздухом, как приказал мудрый доктор. Через пять минут готова колясочка; на них надеваются теплые шубки, под ноги ставится скамеечка; за спину кладется подушечка.

День кончен; всевозможные игры переиграны. Игрушки отобраны и спрятаны в шкаф.

Весь вкусный запас кушаний, дающих силу маленьким мужчинам и женщинам, съеден.

Их одевали, чтобы отправить на прогулку в парк, раздевали и снова одевали, чтобы повести их на чай к соседним мальчикам и девочкам; раздевали и опять одевали для вечера. Они читали

книжки, посмотрели пьеску, видели красивые картины. Любезный длинноволосый господин играл для них на рояле. Они танцевали. Их ножки даже устали. Слуга отвез их домой. На них надевают ночные костюмчики. Свеча потушена, дверь детской тихонько затворяется.

Изредка какой-нибудь беспокойный человечек, наскучив в красивой детской, убегает за садовую калитку вдоль по длинной белой дороге; он хочет открыть Северный полюс, или, если ему это не удастся, так Южный, или истоки Нила, или просто ему хочется испытать ощущение, доставляемое бегством. Он собирается взобраться на горы на Луне, одним словом, сделать что-нибудь, отправиться куда-нибудь, лишь бы вырваться из рук няньки-цивилизации, избавиться от вечного хождения на помочах.

Или какая-нибудь неугомонная маленькая леди, любопытствуя, откуда берется весь народ, который проходит мимо детской, бежит себе да бежит, пока не добежит до большого города, где с изумлением увидит странных людей, изнемогающих под тяжестью труда. И мирная детская с ее игрушками, с хорошенькими платьицами уж никогда не будет для нее такою же, как прежде.

Но для девятнадцати двадцатых из всех обеспеченных людей мира за стенами детской неведомая земля. Ужасные вещи случаются там с маленькими мужчинами и женщинами, у которых нет хорошенькой детской, где бы они могли жить. Люди толкают и бросают их во все стороны, и если они не осторожны, наступают им на ноги. За дверями детской нет доброй, сильной няньки, которая вела бы ребенка за руку, ограждая его от всякой неприятной случайности. Тут каждому самому приходится стоять за себя. Часто при этом человеку приходится голодать и дрогнуть. Здесь уж каждый должен заботиться сам о себе; должен заработать обед прежде, чем съесть его; никогда не может быть уверен, что принесет ему будущая неделя.

Ужасные вещи происходят там: споры, вражда, соперничество; на каждом шагу опасности и неожиданности; люди появляются и исчезают; приходится бороться, стиснув зубы. Обеспеченные люди содрогаются.

Они опускают шторы своей детской.

У Робины была собачка. Она вела обычную жизнь комнатной собачки: спала в корзиночке на пуховой перинке, защищенная от сквозного ветра шелковой занавеской; молоко ей грели и подслащивали; зимой оставляли для нее удобное кресло перед камином; летом ставили ей стульчик на солнце; три раза в день кормили всякими деликатесами, даже блох обирали…

И несмотря на то, дважды в году приходилось прилагать особые заботы, чтобы она не пропадала на целые дни и ночи, отказавшись от всяких удобств и роскоши, предпочитая им долю увлечения и горя, приносимых жизнью на свободе. Два раза в году дул ветер, насыщенный ароматом вечной земной силы; и он шептал собачке о чудной земле, где самые острые камни кажутся мягче самых мягких подушек в неволе.

Одной зимней ночью произошел переполох. Бабетты нигде не оказывалось. Бабетта, Бабетта! — звала вся продрогшая Робина, но в ответ слышался только смех ветра, игравшего снежными хлопьями.

На следующее утро Бабетту на веревочке привела старушка из города, отстоявшего на четыре мили.

Бабетта была вся мокрая, грязная.

Старушка нашла ее у своей двери, дрожащую, несчастную, и, прочтя на ошейнике адрес, а может быть, отчасти надеясь на награду, решила доставить беглянку домой.

Робина была поражена и возмущена. Подумать только: Бабетта — эта изящная, избалованная Бабетта — вдруг вздумала ни с того ни с чего отправиться по грязи, в темноте, в город, словно какая бродяжка. Робина, для которой Бабетта была до сих пор идеалом собачки, отвернулась, чтобы скрыть слезы досады.

Старушка улыбнулась. Она рассказала нам, что у нее было одиннадцать человек детей. Нелегко их было вырастить, и несколько из них и выжили, и не все вышли удачны, но некоторые живут себе, слава Богу, хорошо…

Старушка простилась с нами, но, собираясь уходить, она, повинуясь как бы внутреннему движению, повернула к тому месту, где сидела Бабетта — комочек мокрой шерсти, пристыженная, но в несколько вызывающей позе, — нагнулась и приподняла собачку своими исхудалыми руками.

— Сама себе нажила беду, — проговорила старушка, — да что поделаешь, не совладала с собой.

Мелькнул розовый язычок Бабетты.

— Мы-то понимаем друг друга, — как будто сказала собачка. И они поцеловались.

Я думаю, что терраса будет моим любимым местопребыванием. И Этельберта также думает, что в солнечные дни ей будет приятно сидеть там. Оттуда, через просеку, которую я приказал прорубить, я могу видеть коттедж, до которого ровно миля от опушки леса. Молодой Бьют говорит мне, что именно такого места он искал. Большую часть времени ему, конечно, придется проводить в городе, но с пятницы до понедельника он любит жить в деревне. Может быть, я передам коттедж ему.

Мы можем также видеть трубы дома Сен-Леонара над деревьями. Дик говорит мне, что он решился сделаться сельским хозяином. Он считает, что ему выгодно будет, для начала, войти в долю с Сен-Леонаром. Но возможно, что благодаря неугомонному характеру последнего сельское хозяйство скоро надоест ему. У него в Канаде есть брат, делающий хорошие дела куплей и продажей разных вещей, и Сен-Леонар часто говорит о преимуществах жизни в колониях для человека, которому приходится растить большую семью.

Мне будет жаль потерять в нем соседа, хотя я и вижу некоторую пользу в том, если письма к Сен-Леонару придется адресовать в Манитобу.

И Вероника также думает, что терраса будет ее любимым местом отдохновения.

— Я боюсь, — говорит Вероника, — что, приключись что-нибудь с Робиной, вся вина падет на меня.

— Будет небольшое разнообразие, — утешал я ее, — до сих пор ты все свои вины сваливала на других.

— Ну а представь себе, что и я уже решила стать взрослой, — ответила она.